

*СМ.

СЕРГЕЙ МОРЕЙНО

ПОЭЗИЯ

РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ



* *СМ.*

СЕРГЕЙ МОРЕЙНО



Новое
Литературное
Обозрение

Морейно С.

*См./ Предисловие Ильи Кукулина. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 256 с.

Сергей Морейно родился в 1964 году в Москве. С конца 1980-х в Риге; был близок кругу журнала «Родник». Живет в Риге и Москве, переводит немецкую, польскую, латышскую поэзию, зарабатывает графическим дизайном. Публиковался в Латвии, России, Израиле, Литве, Эстонии, Польше.

Выпустил книги стихов «Орден» (М., 1999), «Клубненазначенных встреч» (Рига, 1999), «Зоомби» (Рига, 2000), «3/4» (Рига, 2002), «Там, где» (М., 2005), «Странные пары на берегу Ostsee» (Рига, 2006), четыре из которых включают и переводы; отдельно издана книга избранных переводов Ю. Кунносса «Contraбанда» (Рига, 2000).

© С. Морейно, 2007

© И. Кукулин, предисловие, 2007

© «Новое литературное обозрение», 2007

Илья Кукулин

СТАТЬ ИНОЗЕМЦЕМ

1

Живущий между Москвой и Латвией Сергей Морейно — один из самых незамеченных среди тех авторов, которые изменили в 1990-е годы лицо русской поэзии.

Формально говоря, то же самое можно было бы сказать почти о всех стихотворцах, начавших печататься в это десятилетие: хотя 1990-е стали одной из самых счастливых и плодотворных эпох за всю многовековую историю русской поэзии, новые стихи в России в это время не замечали в упор, а критики вели малоосмысленные разговоры о «смерти поэзии» и о том, в сколь *бездуховное* и непоэтическое время мы живем. Сегодня, когда в силу изменения общественной ситуации и вытеснения политики из публичной сферы поэты начали привлекать внимание массмедиа (в первую очередь телевидения), критики с неподдельным энтузиазмом стали говорить о том, что «поэзия оживает» — в то время как авторы, которых они вдруг заметили на экране телевизора или на страницах газет, дебютировали десять-пятнадцать лет назад и все это время были на виду. Нужно было только разглядеть.

Но ситуация Морейно выглядит уникальной даже на этом фоне: его творчество не было понято и оценено не только «внешними» наблюдателями, но и большинством знатоков — теми, кто в прошедшее десятилетие действительно следил за поэзией. Его признание остается предельно узким. Нельзя сказать, что Морейно — автор эзотерический или эпатурирующий: стоит только открыть эту книгу, пропустив предисловие, и можно убедиться в том, что его стихи на вид — «нормальные», «понятные»: они сочетают открытую эмоциональную экспрессию с узнаваемыми для начитанного человека культурными отсылками и более или менее традиционной — хотя ритмически и вполне индивидуальнолизированной — версификацией.

Земля, в которой нет нам места,
Двора и, стало быть, кола —
Чужая, стало быть, невеста —
Белым-бела, белым-бела.

(«Немецкое кладбище»)

Сказать, что Морейно мало публиковался, тоже нельзя: до этой книги, которая представляет собой избранные произведения за двадцать лет работы (с 1987 года), у него вышло еще семь, и все они размещены в Интернете. Кроме того, он довольно много публиковался в газетах и журналах Латвии, Литвы, Эстонии, России и Израиля. Таким образом, для произошедшего «вытеснения» нет почти никаких внешних причин¹.

Здесь мы сталкиваемся с очень важным симптомом: по-видимому, причиной отсутствия Сергея Морейно в российском культурном контексте стала проблематика его

¹ Пожалуй, единственная особенность литературного поведения Морейно, из-за которой можно было бы сделать оговорку «почти», — то, что этот автор очень редко, не чаще, чем раз в 4–5 лет, выступает с публичным чтением стихов. Но все же это нельзя считать решающей причиной.

стихотворений, которая отторгалась даже многими интеллектуалами. Определить эту проблематику — значит описать одно из «слепых пятен» современного российского культурного сознания, одну из зон, в которых действуют механизмы, аналогичные фрейдистскому вытеснению в индивидуальной психике.

Центральный мотив поэзии Морейно — ситуация человека, находящегося между: между контрастными культурными мирами, между прежней и новой влюбленностью, между «дневным» (ясным) и «ночным» (порождающим сюрреалистические сновидные образы) сознанием. Недаром одна из важнейших его поэм называется «Метаморфозы» (1993): автор радикально переосмысливает взятое у Овидия название и пишет не о превращениях богов или героев, но в первую очередь — о трансформациях авторского сознания и образов, которые оно порождает.

В 1990-е годы чувство «переходности» всего происходящего было общей чертой постсоветских социальных структур и оценивалось то скептически, как тотальное «крушение кумиров» (например, в прозе Виктора Пелевина), то энтузиастически, как надежда на грядущие изменения к лучшему (например, в либеральной публицистике начала 1990-х), но в любом случае эта «переходность» воспринималась как нечто исторически исключительное, относящееся только к России или к постсоветскому пространству. Морейно же писал и пишет о переходности как о единственно возможном состоянии мыслящего человека в открытом, незамкнутом мире. Более того, он все время «сдвигает фокус» культурного взгляда, предлагая в качестве нормы для культурного сознания принципиально пограничную, а для нынешнего российского культурного сознания и вовсе маргинальную область — Восточную Европу, и прежде всего — Латвию и Польшу. Легко видеть, что большинство произведений книги, которую вы держите в руках, тематически так или иначе связаны с этими двумя странами.

В советские времена республики Прибалтики и «страны народной демократии», такие, как Польша, были зоной пограничья «по определению», поскольку, входя в СССР или советскую «зону влияния», сохраняли отдельные элементы европейского, «чуждого» уклада жизни. Но страны Восточной Европы как особого ареала являются пограничными и в более глубоком, культурном, а не политическом смысле: они веками находились на скрещении влияний Германии, Скандинавии, Австро-Венгрии и России. В манифестарном эссе «Lettland – ein Winterschmerzen» Морейно пишет:

«...Балтийское море – сверхмощный Солярис. Толща его вод хранит, помимо рыбы и янтаря, предания викингов, речь пруссов, пение ливов – «пласт на пласт великие тайны». Отсюда черпали знания и энергию Гюнтер Грасс и Иоганнес Бобровский, Сельма Лагерлеф и Чеслав Милош, Ояр Вацietис и Андрей Вознесенский. Испущенные и отраженные морем волны пронизывают прибрежную ноосферу. Бродя по частотам ментальных полей, финн слышит немца, русский – литовца»².

Для героя стихотворений Морейно эта пограничность оказывается биографическим фактом.

я подняться хотел по заснеженным тропам
с азиатских ступней на колени Европы

но сорвался в листву, опаленную снегом
под коричневым камнем, под дубом, под небом

странным небом, на части разложенным призмой
ни чужбиною взят, ни удержан отчизной

² Морейно С. Lettland – ein Winterschmerzen (2006) // Дружба народов. 1996. №8. Здесь и далее цитируется по Интернет-публикации: <http://www.ferghana.ru/dom/detail.php?id=83>

Вариантами ситуации переходности в поэмах Морейно становится состояние азартного игрока, отвергнутого возлюбленного, российского еврея или русского, живущего в Латвии. Латвия и современный Израиль (поэма «Эрец Исраэль») тоже описываются в поэзии Морейно как эклектичные и обаятельные миры культурного пограничья.

Латвия в поэзии Сергея Морейно — страна полноценной, но «младшей» культуры, — «младшей» по отношению и к Европе, и к России, или, как пишет сам поэт — «малая сцена»³. Эта «младшесть», или, пользуясь выражением философов Ж. Делеза и Ф. Гваттари, «минорность»⁴ осмысляется в его стихах как положительное качество, позволяющее отказаться от претензий на культурное доминирование и одновременно — воспринимать великие мифы европейской культуры слегка иронически.

Персонажи Морейно — всегда путешественники, и тот Бог, в которого они верят, находится в вечном непредсказуемом движении. Он танцует, как Давид перед скинией Завета («Видимый мир»), или странствует по границам мира, не только объединяя своим усилием запад и восток, но и преодолевая смерть:

я проплакал четверть века
оттого что наш Распятый
буйну голову повесил
да на правое плечо
чтобы встать однажды утром
и махнуть из Риги в Краков
в сумасшедший город Краков
а в кармане ни гроша...

(«Краковский трубач»)

³ Там же.

⁴ См. подробнее: *Deleuze G., Guattari F. Kafka: Toward a Minor Literature / Transl. by D. Polan. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.*

Дорога.
Нас соединяет дорога.
Все идут по ней:
сборщик податей и погонщик мулов.
Влекомые неясной целью,
воспоминанием, пузырьками в крови.

(«Католическая поэма»)

Установка на трансформацию и готовность переживать ее понимаются в стихах Морейно не только как норма, но даже как императив. Более того, статус русского поэта, вступающего в диалог с отечественной культурной традицией, возможен для него только тогда, когда поэт ориентируется и на другие культуры и способен описывать свою собственную с пограничной, «окраинной» точки зрения. Особенно жестко и манифестарно «децентрализованная» позиция конструируется в поэме «Раккад–Жирав» (название поэмы – маршрут известнейшего ралли «Париж–Дакар», записанный «задом наперед»):

О простое, немывтое русское слово,
обнаженное суффиксом вплоть до основы!
Коль привел бы Господь меня стать иноземцем,
наградил бы другими гортанью и зевом,
я бы плакал поляком, картавил бы немцем
и стонал благородным хасидским напевом.

<...>

А что я знаю? Киев, Гомель, Брест.
Из Новгорода едет Копиевич учить Петра
в далекий Амстердам, да в номере мужик сказал:

«Скарына!»⁵

⁵ Франциск (Георгий) Скарына (до 1490–после 1551) – белорусско-польский просветитель и книгопечатник, основатель восточнославянского книгопечатания. По-русски известен как Скорина..

Выраженный в поэме ужас перед насилием, которого, увы, действительно было много в российской истории, уравнивается крайне неожиданно — стремлением героя не в Москву, а в русскую провинцию, *прочь от имперского центра*⁶, порождающего это насилие. Строки «В Ярославль хочу, отпустите меня в Ярославль <...> На морскую границу пустите меня, в Кострому...» — сознательная реминисценция из мандельштамовского: «На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко...». Прочь от властительного центра — это и значит на границу, а где граница — там и *свободная стихия*. Там и *молодые* (младшие!) *воронежские холмы* смогут «яснеть в Тоскане».

Восприятие переходности как нормы (а это было и в прежних произведениях Морейно, не таких манифестарных) и связанный с этим «перевод фокуса» с России на Восточную Европу как зону культурного пограничья как раз, по-видимому, и способствовали тому, что Морейно был не только недооценен, но и «вытеснен» — как вытесненной оказалась и вся Восточная Европа (кроме Балкан) из российского культурного сознания 1990-х.

2

У Сергея Морейно почти нет стихотворений в традиционном понимании этого слова: единица его авторского мышления — поэма или цикл. Значительная часть этих больших текстов построена как свод или классификация, дающая всеобъемлющую метафору действительности с точки зрения какой-нибудь науки, мифа, игры или иных способов упорядочения. Поэма «Видимый мир» разделена на четыре главы (если не считать вступления), названные «N»,

⁶ Сквозной образ «сахарной Москвы» в поэме можно понимать как полемическую переключку с образом из недавнего рассказа Владимира Сорокина «Сахарный Кремль» (Известия. 2007. 9 января).

«W», «S» и «O» — «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» соответственно. Поэма «Джокер» включает в себя главы, отсылающие к разным этапам карточной игры: «Первый круг», «Прикуп» и «Второй круг»; «Из записок Сергея Веретенникова» — «О вере», «О мудрости», «О любви», «О молитве» и «О жене» (эти названия как будто взяты из «Опытов» Монтеня или из диалогов Цицерона). Не вошедшие в эту книгу поэмы «Лет спустя» — на главы «Атос», «Портос», «Арамис», «Д'Артаньян», «Планше» и т.п.⁷, а «Эрец Исраэль» — на главы, соответствующие названиям ивритских букв: «Алеф», «Бэт», «Гимэл», «Далет» и др., до «Йуд»⁸.

Такая организация стихотворений больше всего напоминает то, что в грамматике принято называть парадигмой (по-гречески — «пример, модель, образец»). Пример парадигмы — перечень всех падежных форм одного слова. Север, запад, юг и восток при таком метафорическом понимании исчерпывают парадигму сторон света, Атос, Портос и так далее — парадигму героев романа «Три мушкетера». «Парадигматическое» стихотворение становится своего рода метафорической моделью мироздания.

Понимание стихотворения как метафорической «энциклопедии» отчетливо напоминает об эстетике барокко с характерной для нее любовью к всевозможным перечням и классификациям и о воспроизведении некоторых важнейших черт барокко в постмодернизме, но в случае Морейно решает совершенно определенную частную задачу — упорядочение эклектической мешанины сознания, принявшего как свой законный удел путешествия в зоне культурного пограничья. Это кочевое, неприкаянное состояние, и Морейно не зря сравнивает свое творчество сразу и со странствиями табора цыган (восточноевропейс-

⁷ Морейно С. Там, где. — М.: АРГО-РИСК, 2005.

⁸ Морейно С. Орден. — М.: АРГО-РИСК, 1999.

ких, разумеется), и с существованием в прифронтовой полосе, и с жизнью в зоне лесного пожара, где земля, под которой выгорел торф, начинает проваливаться под ногами:

ночь пришла и встал на языке моем табор
слов, одетых в плахты и цветные жилеты
чад мрака и тьмы, исчадий радости и надежды
не сказанных ни мне, ни тебе, ни третьей

ночь душна. Вернулась осень к своим пенатам
линия огня, фронт, не имеющий тыла
порох свеж, и каждый ходит под каждым
тлеет ли вереск, бензин ли горит – не всё ли равно

(«Метаморфозы»)

Поэмы и циклы, организованные как парадигма значений, в современной русской поэзии разработаны в творчестве, кажется, всего двух авторов – Сергея Морейно и Андрея Сен-Сенькова. Более ранними предшественниками этого жанра можно считать Дмитрия Бобышева с его «Началом поэмы» (где ключевыми словами разных глав являются названия элементов системы Д.И. Менделеева) и Дмитрия А. Пригова с его «Азбуками»⁹. У каждого из них «парадигматичность» имеет разные функции, но есть общая черта: всем им она необходима для создания пограничной, «ничейной» зоны между отстраненно воспринимаемым интимным телесным опытом – и миром культурных образов, которые в культуре постмодернизма предстают автору тоже как чужие, отчужденные, нуждающиеся во вторичном обживании. «...Между реальностью

⁹ Впервые парадигматическое перечисление как важнейший элемент эстетики русского авангарда было исследовано в работах Нильса-Оке Нильссона.

(индифферентными [физическими] телами...) и нами... возникает некая промежуточная среда («плоть мира»), в которой предметы обнаруживают свою испредметность, выворачиваются...»¹⁰. Так в поэме Бобышева чередуются рассуждения на химические темы и откровенные сексуальные описания, а некоторые «Азбуки» Пригова написаны как сценарии вокальных перформансов, в которых телесный опыт не только отображался в тексте, но и театрально разыгрывался, — так, что любые культурные знаки начинали «плавиться» под воздействием интонации:

Волк! — волк! — тихо, тихо! Влааааааиииииир, Веееаааа,
Вааааииииииий, Я хочу Ааанннууу! Вааарвааааааа, Ааанн-
нааа, Вееелииииииир...

(«Шестидесятая азбука»)

Морейно — единственный из перечисленных выше «парадигматистов», у кого переходная зона имеет черты совершенно определенного историко-географического пространства. Более того, само поэтическое мироощущение Морейно («ни чужбиною взят, ни удержан отчизной») трогательно напоминает специфическую модальность восприятия действительности, характерную для приезжих интеллигентов-«западников» из России, оказывавшихся в 1970–1980-е годы в советской Прибалтике (или в Польше) не в составе туристических групп, а поодиночке, с семьями или в дружеских компаниях. Мир вокруг его героя — мир уютный, непостижимый, многоязычный, насыщенный памятью о культурных традициях, которые существовали прежде. Но при этом для героя в этом мире нет ничего своего.

¹⁰ Ямпольский М. Б. Дзен-барокко [О стихотворении А. Сен-Сенькова «Царапина около Ромео...»] // Новое литературное обозрение. 2003. № 62.

мы разыграем все словно по
нотам оставленным бабушкой только на этот
раз с новой рубашкой все
карты и мы выбираем нет не поражение
но и не победу а музыку пиво и ветер
в Риге

(«Отсутствие саксофона»)

Такой взгляд «полуиностранца» (или «внутреннего эмигранта») Морейно удалось превратить в очень продуктивную поэтическую стратегию — благодаря тому, что описанную совокупность ощущений он перенес на отношение к европейской культурной традиции в целом. Западноевропейская традиция в его стихотворениях увидена словно бы с окраины или с границы и представлена скорее как анонимный, неизвестно кем созданный мир захватывающих историй, в котором каждый сюжет может перетечь с помощью чудесных превращений в любой другой, как в уже упомянутых «Метаморфозах» Овидия. То есть — как своего рода коллективный миф. Морейно же, подобно поэтам поздней Римской империи, создает только личные вариации на темы обобществленной мифологии, да еще и отчасти чужой (греческой).

Аналогичным образом, ритм и интонация стихотворений Морейно часто выглядят авторскими вариациями того или иного «обобщественного ритма» — американского рок-н-ролла и блюза или левой польской поэзии межвоенного периода и ее русских переводов. И, хотя «индивидуальных» цитат у Морейно тоже хватает, они всякий раз становятся аллюзиями на культурную мифологию. Восприятие произведений писателей прошлого в его творчестве всегда опосредовано дальнейшими «преломлениями» этих текстов в среде читателей, поэтов или критиков, которые выступают как «перетолкователи», посредники в

передаче смысла. Например, ритмическая и грамматическая организация строк

я в Латвии брошен забыт и разъят по частям
под утренний крик петуха не встаю на работу
и надо еще объяснять сумасшедшим гостям
поверишь ли Лотта?

я что-то напутал не Леттланд а Руслянд и там
сквозь шелест листвы вспоминается прозвище чье-то
которое долго и нудно за мною идет по пятам
поверишь ли Лотта? —

явно отсылает к строфике известного и в Польше и в советских интеллигентских кругах 1960-х годов язвительно-го стихотворения Константы Ильдефонса Галчинского «*Servus, Madonna*», переведенного на русский Давидом Самойловым. В современной Польше Галчинский давно перестал быть культовым поэтом¹¹, а в России почти забыт, хотя когда-то его переводил и молодой Бродский, испытавший влияние польского автора¹². Реминисценция из Галчинского предстает в стихах Морейно как отсвет давней поэтической легенды, одновременно польской и советской, но неофициальной.

Для большинства современных поэтов, не только российских, отношение к культурной традиции, даже очень внимательно «прочитанной», основано на переживании исторического разрыва и травмы. Для Морейно, благодаря тому, что он мифологизировал традицию и поместил своего героя в пограничное, эксцентрическое положение,

¹¹ *Нычек Т.* Заворожённый Галчинский / Пер. с польск. Н. Горбаневской // Новая Польша. 2004. № 1.

¹² *Куллэ В.* Там, где они кончили, ты начинаешь... (О переводах Иосифа Бродского) // Russian Literature. Special Issue: Joseph Brodsky / Ed. by V. Polukhina. Vol. XXXVII-II/III. 1995. 15 February / 1 April.

такого разрыва не возникает. Травма в его стихах ощущима при описании личного отношения героя (или автора?) к русской истории, а не к русской и в целом европейской культуре. Наиболее конфликтный вопрос его поэзии — как возможно быть русским поэтом в европейской стране и после всех предшествовавших катаклизмов советской истории? «Эдипов комплекс детей изнасилованной быком царевны [т.е. Европы. — И.К.] усугубляется чисто русским сознанием врожденной вины, чужести и чужестранности. Горек хмель чужого пира, заданного во все еще исполненном величия, но уже готовящемся пасть Риме»¹³.

Пригодность традиционных «средств» европейской культуры для выражения современного сознания сомнений у Морейно, похоже, не вызывает — потому что сами эти средства, прежде чем попасть в «младшую» русско-латвийскую культуру, прошли через длинный ряд опосредований и поэтому могут быть подвергнуты легкому ироническому остранению. Между тем для русской неподцензурной поэзии гораздо более остро встала именно проблема пригодности средств русской и в целом европейской культуры, да и законности «передачи наследства». Все эти средства нужно было изобретать или обживать заново, чтобы не имитировать в условиях века катастроф логичного, «нормального» течения истории, чтобы самим строем стихотворения зафиксировать катастрофический разрыв¹⁴.

«Эдипов комплекс детей изнасилованной быком царевны» оказался выражен в творчестве Морейно наиболее отчетливо по сравнению со всеми остальными русскими поэтами Латвии, да и других балтийских стран — именно потому, что он стал чуть ли не единственным из них, кто сделал эту травму постоянной темой своего письма.

¹³ Морейно С. Цит. соч.

¹⁴ Подробнее см.: Айзенберг М. Возможность высказывания // Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. — М.: Гендальф, 1997.

Однако «смещение травмы», ее эксцентричность тоже затруднили восприятие поэзии Сергея Морейно нынешними литераторами и критиками. Конфликт оказался не «считанным», а позиция Морейно в современном литературном процессе — уникальной.

3

До конца 1980-х Латвия никогда не была как-либо особо выделена в российском культурном сознании: в советские времена она присутствовала наряду с двумя другими «республиками Прибалтики» как обобщенный образ; впрочем, и во времена Перестройки эти страны добивались независимости от СССР общими усилиями (акции «Балтийский путь» и пр.), так что «отделяющаяся Прибалтика» тоже выглядела синкретично — для тех, кто наблюдал за происходящим именно из России, а не из самих балтийских стран. Однако для жившего в Латвии С. Морейно она стала не столько страной, оккупированной Советским Союзом в 1940 году, сколько именно «младшей Европой», местом, где можно почувствовать одновременно уют и неприкаянность.

Рожденный в Москве, Морейно переехал в Латвию взрослым человеком и стал посредником между культурами — самым плодовитым переводчиком новой латышской поэзии на русский язык; переводил классиков XX века Александроса Чакса и Ояrsa Вацietиса и лидеров поколения, дебютировавшего в конце 1960-х и в 1970-е годы и ныне ставших центральными фигурами национальной поэзии — Улдиса Берзиньша, Яниса Рокпелниса, Юриса Кунносса. Избранные переводы с латышского включены и в эту книгу наряду с переводами из ведущих поэтов европейского модерна — Чеслава Милоша, Пауля Целана, Карла Кролова. Тем самым латышская поэзия, в том числе и написанная в советский период (Вацietис), представлена как

органичная и равноправная часть европейской литературы XX века.

В конце 1980-х годов С. Морейно вошел в круг журнала «Родник» (латышское название — «Avots»). Роль этого журнала в развитии современной русской культуры еще предстоит оценить и описать: в нем были впервые в СССР напечатаны произведения авторов, впоследствии, в 1990-е, ставших ключевыми фигурами в изменившейся литературной ситуации, от Евгения Сабурова до Владимира Сорокина, от Игоря Померанцева до Елены Фанайловой; в нем же публиковались и актуальные латышские поэты и прозаики. Эти публикации формировали принципиально новый контекст: произведения неофициальной литературы оказывались в нем не исключением, не «другой прозой» на фоне советской традиции, а элементами общей картины неподцензурной литературы, осознающей себя (в том числе — и с помощью «Родника» и деятельности его главного редактора Андрея Левкина) как составная часть европейско-американского эстетического движения позднего модернизма и постмодернизма. Философ Вадим Руднев вспоминает об этом периоде: «И «Даугава», и — в особенности — «Родник»... из рижской провинции знакомили весь Советский Союз с русской поэзией и с русской прозой, и с русской наукой»¹⁵.

Именно тогда в Риге сложилась уникальная двукультурная общность поэтов, пишущих новаторские по эстетике и глубоко европейские по духу стихи. «...Среди декораций в стиле югенд рождалась (могла родиться, уже родилась) некая не русская или латышская, но латвийская поэзия, единая, говорящая на двух языках»¹⁶. Среди

¹⁵ Выступление в передаче радио «Свобода» 25 марта 2003 г., посвященной Риге. Цит. по расшифровке: Рига: Кафе и Коты. Клипмейкеры и литераторы (<http://www.litkarta.ru/dossier/riga-kafe-i-koty/>).

¹⁶ *Морейно С. Lettland — ein Winterschmerzen.*

пишущих по-русски авторов, создававших новую латвийскую поэзию, были Олег Золотов, Григорий Гондельман, Алексей Ивлев, Сергей Тимофеев — и Сергей Морейно, который с поэтическим творчеством постоянно совмещал переводческую работу. Именно в Риге находилась крупнейшая (по сравнению с другими столицами прибалтийских республик) русскоговорящая община, и значительное число ее составляли люди образованные, но в первую очередь «центром кристаллизации» для создателей новой латвийской поэзии стал журнал «Родник», представивший их общероссийскому читателю.

Описываемую литературную группу можно условно назвать «рижской школой» или, почти с тем же основанием, «кругом рижских авторов “Родника”» — с той оговоркой, что в этот круг вошли люди, чувствующие сходство своих эстетических позиций, но с разным «бэкграундом», не имевшие какого бы то ни было общего учителя и не заявлявшие о себе как об оформленном литературном направлении. Однако между собой они общались постоянно и, как лицеисты пушкинского выпуска, посвящали друг другу стихи или рассыпали в своих произведениях личные намеки, но куда менее веселые, чем в лицейской лирике: «...вообще вне боли мир не воспринимался, был тосклив, как гондельмановский ужин» (О. Золотов).

Авторы «Родника» видели себя и были увидены читателями как существующие в контексте преемственной, пусть и постоянно рвущейся, европейской истории, а не на фоне истории советской империи, которая была временем коллективной катастрофы, вырванной из общемирового контекста истории¹⁷. Конечно, и европейская исто-

¹⁷ Эта особенность советской истории проанализирована в работе: Подорога В. Политика философии. Новые вызовы // Десять докладов, написанных к Международной конференции по философии, политике и эстетической теории... / Научн. ред. И. Бакштейн. М.: Издательская программа «Интерроса»; 2-я Московская Биеннале современного искусства, 2007.

рия насыщена катаклизмами, но на фоне советской она воспринимается как (относительно) частная и не-катастрофическая: «На исходе 80-х в условиях тепличного климата Латвии (близость к Европе, слабость цензуры, производственная обеспеченность) расцвела поэтическая Атлантида, носившая общие черты латвийства (не латышскости)... <...> Европа, утончая и цивилизуя мир, населяет его множеством разных болей, гораздо более тонких, нежели дикая слепая боль, кочующая по русским просторам»¹⁸. Этот тип мироощущения, хотя и выраженный еще более метафорически, был, по-видимому, в большей или меньшей степени свойственен и другим авторам «рижского круга» — например, тому же Олегу Золотову:

Люксембургский эфир бесконечного всякоязычного радио
и дамские кортики в ванной
и нечто из тех вещей про которые я не помню
но там есть слова «достанет ли мне для счастья
в опустевших холодных дюнах нежности и покоя
под старой рыбацкой лодкой»...

(«Экзерсисы к Наталье с прологом, эпилогом и хором»¹⁹)

Представление времени в неподцензурной поэзии 1970-х — начала 1980-х годов, основные действующие лица которой активно публиковались на страницах «Родника», было реабилитацией личного времени человека в условиях общей безнадежности и тоталитарной, то есть замкнутой, отгороженной от всего мира ситуации («Надежды, как норы, / ветвятся во времени лютом» [М. Айзенберг]). Время в произведениях авторов «рижской школы» оказалось временем *культуры* — лично пережитой, но при этом

¹⁸ Морейно С. Lettland — ein Winterschmerzen

¹⁹ Золотов О. 18 октября. — Рига: Pop-front, 2006.

совместно понятой, открытой (то есть не эзотерической по духу) и не превратившейся в эскапистское убежище, как это сплошь и рядом происходило в культуре советской «метрополии»²⁰. «...В... западной провинции всегда были разговоры очень серьезные, очень эмоционально наполненные, очень концептуальные» (В. Руднев)²¹.

Если оглянуться на историю новейшей русской литературы Латвии, можно констатировать, что С. Морейно стал единственным автором, у которого основы культурной оптики «рижской школы» превратились из «рамки», или способа взгляда, в предмет изображения. Более того, самостоятельным сюжетом поэзии и эссеистики С. Морейно стала генеалогия этой оптики, ее историческое происхождение. Пользуясь культурологическим термином, можно сказать, что особенности, объединявшие в конце 1980-х и начале 1990-е авторов «рижской школы», оказались в поэзии Морейно тематизированы.

Морейно пришел к этой тематизации, по-видимому, во многом по биографическим причинам: в отличие от всех остальных поэтов «рижской школы», он был в Латвии приезжим. То, что другие «рижане» воспринимали или воспринимают сегодня как «фон» своего поэтического творчества, он артикулировал как личное открытие. Так, современный рижский русский поэт и переводчик Александр Заполь задает риторический вопрос, полагая ответ на него заранее известным: «есть ли вообще свое место в Риге у кого-нибудь?»²², а Золотов в страшных предсмертных стихах писал, обращаясь к Константиносу Кавафису:

ты под землей вот это мощный плюс
ты под землей мне муторно Кавафис

²⁰ Подробнее об этом см.: Кукулин И. Фотография внутренностей кофейной чашки // Новое литературное обозрение. 2002. № 54.

²¹ Рига: Кафе и Коты. Клипмейкеры и литераторы.

²² Там же.

я прежде грелся по чужим кроватям
теперь боюсь

я в этой европейейшей столице
себя загнал в такую хренотень (глухомань
что утра жду дрожа и вместе с тем (что если где услышишь
«Вань, а Вань?»
крушуся что никак не удавиться (так хочется немедля
застрелиться)²³

Сергей Морейно еще в конце 1980-х годов описывал неприкаянность героев и их существование в многоязычном мире как следствие именно латвийской и – шире – восточноевропейской специфики. Европейское «смешение языков» возникало у Золотова то через «люксембургское радио», то через поэзию Кавафиса, жителя многоязыкой Александрии, – Морейно же сделал образом такого смешения саму Восточную Европу.

«Рижская школа» действует и поныне, хотя и изменила состав: Ивлев и Золотов, увы, умерли совсем еще не старыми людьми (Ивлев последние годы жизни провел в Москве), но в Риге появились новые талантливые русскоязычные авторы, объединившиеся вокруг Сергея Тимофеева и издаваемого им нерегулярного альманаха «Орбита», так что теперь в эту «школу» входят поэты преимущественно более младшего, чем прежде, поколения – родившиеся уже не в 1950–1960-е, а преимущественно в 1970-е годы, – а сам круг этих авторов в гораздо большей степени приобрел черты оформленной группы, но не поэтической, а скорее синтетической – литературно-акционно-видеоартистской²⁴. Участия в акциях и многочисленных выступле-

²³ <http://www.orbita.lv/central.html?teka=14768>.

²⁴ Публикации стихотворений нынешних авторов «рижской школы» см.: Освобожденный Улисс. Современная русская поэзия за пределами России. М.: НЛО, 2005; подборка в журнале: Воздух. 2007. № 3.

ниях нынешней «рижской школы» С. Морейно не принимает, да и его поэтика очень отличается от поэтики «рижан 2000-х». Однако, поскольку участники «Орбиты» стремятся продолжать и традиции «Родника», собирают и публикуют тексты авторов «рижской школы»²⁵, можно считать, что и они — полноправные граждане того культурного пространства, которое на рубеже 1980-х и 1990-х создавали Андрей Левкин как редактор и Сергей Морейно как поэт и переводчик.

4

Уже во второй половине 1980-х — в начале «взрослого», сознательного творчества — в поэзии Морейно наряду с «латышскими» сюжетами появляется устойчивый круг тем, образов и аллюзий, связанный с Польшей — и с ее восприятием в России; о скрытой цитате из Галчинского в сугубо «латышском» стихотворении я уже говорил выше, а здесь стоит добавить, что в этом сборнике публикуется, например, поэма «Краковский трубач» — напомним, что ранее трубач, ежечасно подающий сигнал с Марьяцкого костела в Кракове, стал героем известной песни Булата Окуджавы. По-видимому, Сергей Морейно — единственный в современной русской поэзии автор, который сумел на новом этапе переосмыслить один из самых мощных и обаятельных мифов 1960-х годов — советский миф о Польше. Завороженность Польшей, охватившая в это десятилетие многих, особенно свободомыслящую молодежь, не может быть

²⁵ На сайте группы «Орбита» публиковались и публикуются — правда, нечасто — авторы «Родника», например, Андрей Левкин и Алексей Ивлев; на этом же сайте были помещены некрологи Олегу Золотову и Алексею Ивлеву, а также опубликованы последние стихи Золотова.

²⁶ Советский анекдот, ходивший, самое позднее, с начала 1960-х годов: «В социалистическом лагере наш барак — самый веселый».

объяснена только тем, что Польша была «нашим Западом» и «самым веселым бараком» в социалистическом лагере²⁶. У этого мифа была и трагическая составляющая, выраженная прежде всего в ранних фильмах Анджея Вайды («Канал» и «Пепел и алмаз»), но не обязательно «прикрепленная» к ним. Позволю себе привести целиком стихотворение, прекрасно известное литераторам старших поколений²⁷, но, кажется, не вошедшее в современный «культурный оборот»:

Покуда над стихами плачут,
Пока в газетах их порочат,
Пока их в дальний ящик прячут,
Покуда в лагеря их прочат, —

До той поры не оскудело,
Не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не сгинело,
Хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,
Я точности не знаю большей,
Чем русский стих сравнить с поляком,
Поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала,
Заламывая руки в страхе,

²⁷ Так, Татьяна Бек в своих мемуарах рассказывала: когда она начала читать это стихотворение на своем выступлении в Нью-Йорке, на сцену из зала вышел Иосиф Бродский и начал читать хором вместе с ней (Бек Т. До свидания, алфавит: Эссе. Мемуары. Беседы. Стихи. — М.: Б.С.Г. — Пресс, 2003). С воспоминаний об этом стихотворении, услышанном лично от Слуцкого, начинается 650-страничное описание своего полувекового романа с польской поэзией поэт и переводчик Владимир Британишский (Британишский В. Поэзия и Польша: Путешествие длиной полжизни. — М.: Аграф, 2007).

Еще вчера она лежала
Почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит
И наглым хохотом хохочет.
А то, что было,
То, что будет, —
Про это знать она не хочет.²⁸

Конечно, для советских интеллигентов 1960-х, в том числе и для Слуцкого, который не мог говорить об этом в подцензурном стихотворении, Польша пережила не три, а четыре раздела: четвертый был произведен в 1939-1945 годах. Память о нем была сопряжена с чувством коллективной исторической вины за то, что советская армия по приказу сталинского руководства не поддержала Варшавское восстание 1944 года, а для особенно чутких и осведомленных — и за нападение на Польшу в 1939 году, и за Катынский расстрел.

Важнейшая составляющая трагического «извода» «польского мифа» 1960-х — это мотив исчезнувшей и невозможной родины. Польские партизаны, участники антифашистского сопротивления — люди на горячей земле (ср. начало фильма Анджея Вайды «Канал»). Эта земля не может быть «моей» и вообще «чьей-то». Оккупированная фашистами и «освобожденная» советскими войсками Польша воспринималась как страна, в которой каждый рефлектирующий человек становится стихийным экзистенциалистом, лишенным путей к отступлению и всех привычных основ жизни, вынужденным действовать на свой страх и риск и поэтому готовым жить только настоящим моментом («А то, что было, / То, что будет — / Про это знать она не хочет»).

Автобиографическую книгу «Слова» («Les Mots») один из лидеров экзистенциализма Ж.-П. Сартр первоначально

²⁸ Впервые опубликовано в: Юность. 1965. № 2. Впоследствии многократно перепечатывалось.

но планировал назвать «Jean sans terre» — это одновременно французская транскрипция имени английского короля Иоанна Безземельного и автохарактеристика: «Жан[-Поль] без [своей] земли». Французский психоаналитик Жан-Бертран Понталис предложил читать это название как превращенное «Jean sans père» — «Жан без отца». Утрата подлинной родины, которую можно было бы назвать своей, чувство культурной «безотцовщины», даже при отличных отношениях со своим собственным отцом — все эти ощущения некоторые советские шестидесятники испытывали, возможно, даже острее, чем Сартр. Польша времен Второй мировой войны и после нее становилась «местом проекции», своего рода экраном, на который можно было сфокусировать такие чувства и придать им эстетическую форму. Так возник «польский миф».

Сергей Морейно возрождает этот миф в современных условиях. Он не достался поэту по наследству, потому что больше, кажется, ни в чем, кроме этой неодолимой привязанности, он не продолжает традиций российских шестидесятников — ни официальных, ни неофициальных. Пусть привязанность к Польше и Латвии имеет для него генеалогические основания — в Латвии и Литве до сих пор сохранились фамилии Морейн и Морейнис — но все же трансляция «польского мифа» стала делом его свободного выбора. Очевидно, этот миф потребовался С. Морейно для выявления уникальных черт Восточной Европы как «невозможной родины», как пространства, где принципиально промежуточное положение его героев осмысливается как идейная константа, укорененная в трагической истории этой страны. Более того, как судьба, которую следует принять.

Куда же деться? Краков, Лодзь, Варшава.
Попробуй, разними любое слово на шорох губ —
останется трава. И ничего. А так — мороз по коже...

(«Раккад-Жирап»)

Вероятно, и Латвия оказалась мифологизирована в поэзии Морейно с оглядкой на «польский миф». Она стала словно бы «другой Польшей». Герои его произведений – совсем не экзистенциалисты, их не преследует чувство жесткого выбора, который нужно делать «здесь и сейчас». Но с теми, давними персонажами мифа их роднит чувство легкого, пьянящего счастья, которое возможно только сию минуту, а что будет дальше – кто знает... («Мы школьники, Агнешка. И скоро перемена. И чья-то радиола наигрывает твист», – по-своему описывал некогда это чувство Булат Окуджава.) И ощущение потерянной, невозможной родины, постоянное навязчивое переживание того, что, пока мы тут веселимся, у нас (говорю от лица персонажей Сергея Морейно) под ногами горит земля, которая могла бы стать родной, но стала только неотвязной памятью. Поэтому мы ее любим и знаем, как свои пять пальцев.

5

Изображение мира как эклектичного пограничья Морейно продолжает и в новых стихах, но расширяет их «культурную географию». Восточная Европа остается центральным мифологическим ресурсом его поэзии, но в общий контекст вовлекаются, например, Израиль («Эрец Исраэль», «Ковер»), мусульманский Ближний Восток («Ковер», «Джокер», «Золото Рейна») или – самое парадоксальное – Россия, но увиденная сквозь призму предшествующей, «пограничной» поэзии Морейно. Вероятно, это намеренное обращение к «оптике перехода» и является одной из причин того, что под поэмой «Раккад-Жирав» стоит удивительная дата: «2007–1987».

Но при этом расширении контекста, увеличении разнообразия и общем усложнении стихотворений главный – «лирический» – герой Морейно сохраняет свои постоян-

ные черты, и черты эти парадоксальны. Это субъект тонко рефлексирующий, способный остро чувствовать разнообразные «тонкие боли», но при этом в своих реакциях и комментариях аутичный, как сомнамбула. Кажется даже, что он и самую безумную влюбленность переживает несколько сомнамбулически — как бы постфактум. Он блуждает по всей Европе, а временами доходит и до Азии, но можно с той же достоверностью считать, что он просто грезит в центре глобализационного циклона, так что весь этот циклон выглядит его сном. Он сам — «слепое пятно» в пространствах видений, переполняющих поэмы Морейно. Однако сны героя — настолько вещице, что точнее было бы назвать его медиумом: вихрь времен и цивилизаций точно выражает сознание современного человека.

Сны этого медиума — компенсация того, чего нам недостает в реальности. Нам, читателям, а не ему, поэту. Осмысления «межкультурности» как ситуации существования в современной русской поэзии — и в диаспоре, и в метрополии — явно недостаточно. Даже, можно сказать, странно мало для такой многоэтничной и многосоставной культуры, как русская. Последовательное решение этой задачи в творчестве Сергея Морейно — редкая удача. И уж тем более уникальным выглядит выстроенный Морейно «миф пограничности», материалом для которого стали конкретная биография и конкретный историко-культурный регион. Поэтому его творчество необходимо современной русской поэзии как фермент, способствующий полноценному существованию организма — фермент, который невозможно заменить.

**) СТИХИ*

НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ

1

Зима приходит, набирая
Такую силу с каждым днем,
Что кажется преддверьем рая
Дыра, в которой мы живем.

Земля, в которой нет нам места,
Двора и, стало быть, кола —
Чужая, стало быть, невеста —
Белым-бела, белым-бела .

2

Хорошо сходитья по двое, по трое,
Из избы натопленной вынести сор.
Это кто там ходит по траве, по двору —
Может, кот ученый, а может, вор?

Мы вора вызовем в комнату теплую,
Обоьем веничком, отольем чайку.
Ведь и мы жулики — любим чай с воблюю,
Чтим отца матерью, бережем башку.

3

Почернели скамейки. Сидеть никому неохота.
Вот униженный город, хозяевам крепкий чужим.
Он пробит в пояснице стрелюю, каляной от пота
(но еще разогнется) и крови. А мы побежим.

Потому что судьба наша, брат, не любовь и работа,
не беглец, не скиталец и даже не мать твою так.
Мы с тобою трава, и по нам отступает пехота,
а когда наступает, мы молча ложимся под танк.

Я пройду этим парком, душистым, как первая зелень,
где туман под ногой, только запахи – ночь и февраль.
Только запахи: ночь, и покрасить еще не успели
в нашу лучшую краску собора ужасную сталь.

4

Когда голубая вода
В пруду, на косе, у излуки
Отпустит его навсегда,
Отмыв до прозрачности руки, –

Он вытянет руки по швам,
Доверчивый маленький Янис,
Смешным повинуюсь словам,
Которых мы раньше боялись.

Я вроде сюда и не зван,
И мне бы катиться по склону –
Иван, понимаешь, Иван
В цвету колокольного звона...

5

Садовод под вечер намажет медом оконца,
Чтоб слетались, как мухи, дочери и зятя.
И столовой ложкой хлебать закатное солнце
Отправляются бабушка, сестры и я.

И пойдет подошва дырявая гальку хрумкать,
А у станции происходит разбор гостей.
И тогда весь мир заключается в этих сумках,
Где арбуз засыпан ворохом новостей.

И, глядишь, на заднем дворе костерок дымится.
А еще у калитки, помню, сосна росла.
И жгут под водочку глупейшие небылицы,
А им, говорила бабушка, несть числа.

6

Август, белый мой месяц,
Герцог полей кукурузных,
Папа рогатых лестниц,
Жирный, икающий, грузный.

Кожа твоих сандалий
В медь дорогую одеты.
Жало осы твоей жалит
Слаще, чем запах ранета.

Жарки звездные бани.
Банщик услужлив и ловок.
Водка в граненом стакане
Ждет до весны птицеловов.

7

Развиднелось. Дворы зацвели голубями.
На последние деньги зима
Напоила парным молоком с отрубями
Мертвецов и уснула сама.

Я уже не чужой в этом городе странном.
Только жаль, что январь налегке
Безымянным пришел и уйдет безымянным
В почерневшем от слез пиджаке.

DIE HEIMKEHR

*)

поля за окном вагона
называются Поле брани
луна меня полюбила
и я не спал до рассвета
бежали в степи дороги
чернее московской брани
ветвились и оборвались
под Волоколамском где-то

а утром меня мутило
от близости трех бульваров
листва козыряла в ноги
друзья говорили: спишем
троллейбусы били зорю
а я был чужим и старым
и марша дуги и щетки
не слышал, увы, не слышал

*)

как из темных лесов черниговских
налетал на Москву воробышек
он любил на Москве голубушек
красных девиц любил, белых барышень
целовал он им ручки московские
а потом поганил соседушек
в подворотнях, бля, по скворешенкам
вот она тебе, удаль русская

эка невидаль — удаль русская
стал крутить усы люд смекалистый
сам московский люд, черный, грамотный
чтой-то мы сперва обознались
не воробышек то —
вороненочек

*)

ах, пройти по бульвару
нырнуть в знакомый подъезд
который укроет меня, как устрицу створки
заклеит, залижет
рваные раны
что оставляет метро — суставчатый зверь
обрызнет мертвой водой
живую водой
а за ночь старушка-Москва
разграбит холодными граблями
парки, газоны
и все прорастет, что надо

*)

зольдатски стиль, Георг
вся Россия живет зольдатски походни стиль

*)

все чаще хочется отстреляться
с мелким клетотом, часто-часто

так, неожиданно, из-за угла
переваливаясь через бруствер
цепко схватывая землю гусеницей
приласкать на длину ствола
сочно, густо

знаем мы эти ласки...

*)

пешабарская конница нас за людей не считала
мы любили калифа а их обучали убей
а они отличались от нас лишь седалищным салом
и, о горе нам всем, не любили своих голубей

от войны до войны жили мы, и от мира до мира
если вдруг прижимало, то нам говорили: пойди
разогрей свое сердце прогулкой по рынкам Каира
а на рынках Каира охрана кричала: «Пади!»

о, любви изваянье, царапина чудная сердца
там по улицам бегала — бабочка, бантик, бутон
но Ему не спалось, и обычные игры со смертью
отдохнув от учений, уже затевал эскадрон

*)

утоляя жажду горячего летнего зноя
утоляя тоску по пыльным степным колодцам
если не можешь довольствоваться парною
очень часто случается проколоться
потому что бабочки-самоубийцы (а также осы)
давно отлетали свое; откосили косы
а луг, на котором росли венки из ромашек
стал серым могильником червей, мотыльков и пташек
и души умерших трав, людей и деревьев
поднимаются в небо и землю в полете бреют
облетают родной поселок и, знаю, даже
оседают порой на трубах, как пыль и сажа

ОСЕНЬ В КРАСЛАВЕ

*)

собака лает, ветер носит
цыгане пляшут за углом
сосед на опохмелку просит
идет Вселенная на слом

сложите нас в большие кучи
пора зажечь со всех концов
как жизнь *тверезая* нас учит
бездельников и наглецов

пускай останется лишь запах
а мясо выгорит дотла
есть под синицами на шляпах
по горстке пепла и тепла

*)

томительная погода
предвестница мутной крови
рассказывающая сказки
мечтающим об улове
кому норовишь ты плечи
сломить небывалым грузом
вон видишь: оса кружится
над полосатым арбузом

все нужно куда-то ехать
кого-то ловить в подъезде
меж четких осенних знаков
Растерянность и Возмездье
лишь к вечеру стихнут схватки
пролягут ночные рельсы
и в яблочко каждый выстрел
со вкусом — куда ни целься
да желтых цветов засилье
у станционной чайной
а все остальное в мире
как ни крути, случайно

*)

кажется, я не искал это место
в руки не брал и не трогал губами
сладкое место, пахучее тесто
жирной земли и подливки с грибами

я на него был когда-то натравлен
верьте — задолго до жизни — не верьте
двинской свинцовой водою отравлен
к счастью — до смерти, задолго до смерти

*)

Осень идет. Утомленный овчар опускается в ад. Мерзнут болота во тьме, замерзают и т-трах — под ногою охотника колется лед. Бани пускают дымок, как трубка, что курит овчар. Сараи не дышат. Нам невдомек, что месяц ущербный режет коров, будет дело. Свалим свинью, станем жарить. Я выхожу в поле, голос глохнет, меняется кровь. Все замирает, чуть живая встает Латгола, как сена возы, обступают фамилии: Скрында и Пипини, десять возов проплывают над польской землей. Год на ущербе, завтра декабрь, но надо ждать еще месяц, лица строги, осень идет.

КРАКОВСКИЙ ТРУБАЧ

1

в Европе на башнях пробило -надцать часов
и их петухи получают аккордный подряд
я тоже могу разбирать на сарае засов
и даже потрогать цепочку но это навряд

давно на воротах Европы написано «нет
ни входа ни выхода» всем кто умеет читать
ты можешь работать всю жизнь на обратный билет
прямую плацкарту получают тебе не чета

полвека назад мы ушли бы с тобой на войну
где кто-то простой и суровый потребовал: жди
меня я вернусь я с победой вернусь
а нынче у нас не осталось за что уходить

за сорок копеек в пельменной мы купим тепла
(ах вот почему так никто не хотел умирать)
от съеденной пищи уже голова тяжела
на серые камни подошвы несет протирать

и ты ли удачник ли я ли дешевый поэт
но призрачной дымкою все же навек пленены
и я и они для чего же нам пишется «нет»
когда ни солдат ни снарядов ни слез ни войны

2

я проплакал четверть века
оттого что наш Распятый
буйну голову повесил
да на правое плечо
чтобы встать однажды утром
и махнуть из Риги в Краков
в сумасшедший город Краков
а в кармане ни гроша
что там в венграх что там в ляхах
Свейских войн лежат останки
за оградами костелов
человеку грош цена

3

опять леса опять окопы
грядут большие холода
не знаю схлынет ли вода
рожденная вторым потопом
из долгой спячки и зимы
восстанут страшные магнаты
в гробах зашевелиятся латы
проснутся ясные умы
и обновят основы знанья

дай Бог дожить до тех основ
дай Бог не видеть больше снов
рожденных дремлющим сознаньем

4

эй разбирайте ружья
идет счастливое время
христиане второго пришествия
бросают каменоломни
рушим Китайскую стену
стираем де-мар-ка-ци-он-ны-е линии
ищем желающих быть замурованными
в фундамент нового мира

5

К четвергу заживет лихорадка, а дальше пустяк.
В серый поезд, страхуясь поземкой, наганом вкрутиться.
Сигаретой, свечою рвануть до границы
на багажной ли полке, башку на локтях

утвердив — что там, гвоздь впереди, что ли, Лодзь?
«Тятя, тятя, пойди, посмотри — в наши сети опять
затянуло пропахшую потом мужицкую гроздь —
это кто ее будет по зернышкам здесь разлеплять?»

Сразу в Краков давай. Там политика падает ниц
перед скопищем цен, а на площади — снег. И с колен
до апреля не встанет зеленый бисквит Сукенниц,
и газеты маляр не налепит на окорок стен.

А Создатель спокоен, свисает себе и во сне
говорит: «Ничего, я почти что уверен в себе.
Ничего, если воздух замерзнет в органной трубе —
ничего, я имею восстать по весне!!»

ОТСУТСТВИЕ САКСОФОНА

1

В Риге

идти бесконечную мокрою улицей город
филистеров полон и жизнь
так прекрасна и льется
на площади желтое пиво и рвется
ветер из крыш экзерсисы читать черепичные но
кнастер курят студенты и пьют
поцелуи в подъездах ничто и не
тронуто вовсе не нужно владеть ремеслом чтобы так
беспечно смеяться ведь счастья так
много и завтра Германия
снова объявит войну и
мы разыграем все словно по
нотам оставленным бабушкой только на этот
раз с новой рубашкой все
карты и мы выбираем нет не поражение
но и не победу а музыку пиво и ветер
в Риге.

2

освобождаясь от шубы
почти что под самой крышей
ты говорила щурясь
раньше здесь жили мыши

божественным соединеньем
частей дорогого тела
в оранжево-красной пене
ты на диване села

посередине мира
текла голубая жила
и госпитальная сырость
улицы обложила

все городские власти
сегодня ушли в богему
под золотом на запястье
есть место откуда все мы

тянем и пьем на суше
влагу и губы моем
все стало резче и суше
этой зимою

3

когда я вышел на улицу белых лип
что это липы я просто чувствовал кожей
распорядитель снега скомандовал пли
и снайпер в форточке вытер щекою ложе
но пауза между вспышкой и взведеньем курка
за сотни лет обмануть сумевшая многих

шепнула мне послушайся жизнь легка
ступай вперед у тебя хорошие ноги
но выстрел грянул арки в его лучах
ловили и передавали друг другу эхо
я все запомнил и поворот плеча
и лайки срез в разрыв щенячьего меха

4

что за странное небо разложено призмой
нас повсюду должна достигать укоризна

где дубовые листья ложатся на иглы
не отсюда ль Владимирский дьявола выгнал

так прости же, Господь, мне мои прегрешенья
я не верю в Тебя до икоты, до жженья

но, клянусь, ни убийцей, ни вором не буду
сотвори же над нами то белое чудо

опадания снега на землю изгнанья
прикасання перстами к гноящейся ране

я подняться хотел по заснеженным тропам
с азиатских ступней на колени Европы

но сорвался в листву, опаленную снегом
под коричневым камнем, под дубом, под небом

странным небом, на части разложенным призмой
ни чужбиною взят, ни удержан отчизной

БОЛЬНЫЕ СТИХИ

I

«— Елочка, елочка,
что у тебя на щеках?»
«— Не выговоришь:
 амальгама, —
что в руки бабочку взять,
разбить серебряный шар
или плакать в локоть...»

— А что внутри,
красном, как сердца кусок: —
неужели ствол?
— Там дом бумажного принца.
Три лакея, пюпитр и камин.
В камине слезки горят
жарко-жарко.

II

Ни зимы, ни метели, ни крупных хлопьев.
Много нищих, но их порадовать нечем:
не отдашь последнего — не прогонишь.
Под двойным прищуром богемских стекол
кабинетных полок чужой квартиры
так и хочется в изморозь юркнуть птичкой,
меж сосуллек лететь и замертво — там,
 о,
где на город наставлен глушитель снега,
где зима-метель и черные диски,

где мой взгляд, твой голос и память деда,
бьется в стельку пьяное опахало
и всю ночь кораблики тонут —

падать,

рассыпать монпансье по ковру в гостиной,
собирать кубышки с пристывшим ворсом
и бежать к окну
одаривать нищих.

III

сухо и холодно: ни мандаринной корки,
ни змейки очереди. холодно и пустынно
пара карих глаз (непутевый Генрих,
что, и здесь встречаются самарянки?)
что, любовь имеет место под этим ветром?
кто ж тут дышит в ухо, целует ноги,
гладит волосы (отвечай, несчастный!),
для кого дворы застилают марлей,
водосточные трубы рисуют сажей —
знаешь? знаю ли? мы никому не скажем...

IV

и это в прошлом больше не встать в парадном
не ждать порцайки слипшихся поцелуев
не прыгать голубем между чужих окурков
все это в прошлом в лучшей будущей жизни
не встать в парадном даже не выпить водки
отпетыми на рождество колыханьем капель
тащиться к церкви горланить «Чау, Мария»
а после долго трястись в ледяном трамвае
идем обедать нам больше не встать в парадном

V

я в Латвии брошен забыт и разъят по частям
под утренний крик петуха не встаю на работу
и надо еще объяснять сумасшедшим гостям
поверишь ли Лотта?

я что-то напутал не Леттланд а Руслянд и там
сквозь шелест листвы вспоминается прозвище чье-то
которое долго и нудно за мною идет по пятам
поверишь ли Лотта?

о как тяжела и томительна осень майн готт
я псих а не стоик как тайный советник фон Гете
но более всех нас страшит наступающий год
и мысли о Лотте

до правды ли здесь если старые письма несет
в утиль как в очко о талоне насущном забота
и рук наложенъе на щеки уже не спасет
поверишь ли Лотта?

РАККАД-ЖИРАП

1

И я, как Рогожин, в горячке из страшного Пскова
по первому снегу бежал на голодную Русь.
С подарком под мышкой, в кафтанчике чуда морского,
в холодном вагоне с соседями «парень, не трусь!»

*)

Вот она, сахарная Москва!

*)

Судили, рядили, меняли коней на заставах,
делили сестер и именья, держали пари.
Я вышел из поезда. Дым заворачивал вправо,
а я поднимался налево и думал: «Смотри».

*)

Вот она, сахарная Москва. Эй, залетные!

*)

Худая рука очертила костяшками пальцев
скупую черту, подперевшую шею врагу.
Сыны Пугачевщины грели затекшие яйца,
готовые вздернуть любого на первом снегу.

*)

Эй, залетные! Матросня, носильщики, девки-барышни.
Каблучки в три версты, верста коломенская.
Серьги в три рубля, рубль-от батюшкин.

*)

Не про нас товар — больно свеженек.
По холмам хожу, версты меряю,
меняю шило на мыло, спирт на шубу, шубу на саван...

2

Вот жестокая, но справедливая Русь;
ты ей пососи, а я не боюсь.
Иди, разбирайся, что в ней и как.
Подставишь ладошки, а она в них — как!

*)

В Ярославль хочу, отпустите меня в Ярославль.
Там у нянек глазастых горячая девка росла.
Там пшеница на ярмарках, я чай, дешевле, чем грязь.
А еще говорят, что, мол, к ней запохаживал князь.

*)

Возникает знакомый пейзаж;
проступает, сучок, на окошке.
Так и хочется взять карандаш
и приделать родимому ножки —
чтобы съеб неизвестно куда, оставляя пустую равнину,
по которой идут поезда... Но ни дома, етит', и ни дыма.

*)

В Ярославль желаю, за свежий еловый кордон.
Я бы Волги отведал, как Всеволод пробовал Дон.
Я кувшинным бы рылом в калашный бы сунулся ряд...

*)

А еще у ворот толковали подьячие: град.
Тут и ходу-то, лёту — на вздох богатырской груди.

*)

(Все побито да градом разметано — брешут, поди.)
На морскую границу пустите меня, в Кострому.
Я орехами с медом набью вам кошель и суму.

3

Я люблю трагичность этого мира;
ожиданья смертей, ожиданья расплаты.
Посиделки на кухне — с вином и сыром,
колбасой и чаем — чем мы богаты.
География преобладает в понятиях;
я люблю людей — по рождению и детству —
говорящих утром: ебена мать,
и хрипящих вечером: оглядеться.

*)

Что за тяжесть готова лечь на наши серые плечи —
откос дождя, яблок отвес или просто от-
прыски крабов на отмелях Междуречья —
побитый плес, полегший ячмень и подохший скот?

*)

(Почему, когда льет дождь, то уши у стен
неожиданно прорезываются в каждом шве? –
и, за неимением спичек, ангел в кусте
мучается, прикладывая стертый ноготь к подошве...

*)

(Вернуться, вернуться. Войти сквозь сырой штакетник
в распахнутые, как лица, липы, принять печать
Каина, кающегося в растлении совершеннолетней
дуры-родины, и с другой начать...)

*)

...но и без ангела ночь приближает, как шляпа – глаза,
к черепу небо любого года издания.
И память засовывает в него свой клык, как мурза,
лишающий девственности неплательщицу дани.)

4

А ближе к августу – орешник, а после августа –
отрава. Они вернулись в свой скворечник, они вернулись.
Боже правый! К какому богу, в самом деле, так нужно
вляпаться в скрижали, чтобы пропасть в конце недели:
скажи, откуда вы бежали?

*)

Во чистом поле, во ясной тьме заскрипели кости –
батыр проснулся. «Эй, Челубею, где твоя сила?»
– Молчи, охальник: и все мы трупы, кровь не остыла,
молоко не обсохло, ты сам чуть жив,
Александр-свет Лазоревич.

*)

– Мы все из домика улитки, там день повязан
ниткой алой. Нам было жарко у калитки под шелухою/
одеялом. А после дождика свежело, и ласточки
бывали сыты... Мы все убиты подо Ржевом,
мы все, должно быть, там убиты.

5

Солнцем Того Же Дня И Много Дней Вперед
Пала Звезда Огня Смелость Земля Берет
Небо Брат Мой Вошло Воздух В Грудная Клеть
Розовое Дышло Лоб Голубая Плеть

*)

Волшебство дороги (твою меть!) – опять я в этих ладонях.
Родина отпустила – значит, я снова чист.
Меж тем Господь ведет меня белыми травами,
воды возвращают мой хлеб – барух ата,
и свечи горят надо мной.

*)

Пожиратель пространства, с детства я полюбил трассу.
Над глазами озер твоих, страна, я лечу
в надбровном воздухе, разнося по сети
биенья твоего влажного сердца.

*)

В ранней юности я плывал на кораблях,
влачивших свой груз с побережья на побережье,
и радовался чистому небу, морской удаче,
бочонку пива и древку копья в руке.

*)

Авва-отче, нас привязала к себе чужая земля,
мы бьем ей челом, сходя по ступеням.
«Вернешься туда, откуда пришел», — сказал наш мудрец.
Вернулся ли он? Вернусь ли я? И ты — когда ты вернешься?

6

Запах горького ореха возвращается, как эхо.
Вновь коптят в родном лесу кровяную колбасу.
Наши старые любви теплятся у изголовья
и горячим медом лечат наши новые увечья.

*)

Рифмы, рифмы... Была у меня одна сука,
любившая совпадение ударных и безударных звуков.
Она, как и прочая, иже с ними — просраты.
Вот я и рифмую загодя невосполнимой утраты.

*)

Засыпают побратимы — пивовар и стеклодув.
Спит оплот Святого Рима, шпилем облако проткнув.
А вверху по нашим верам, в сапогах из диких трав,
ходит месяц, злой и серый, руки за спину убрав.

*)

И пышные волосы, и роскошные плечи,
и лепестки, освещенные июльским солнцем,
уходят, уходят, накрываются пиздецом,
не имея обыкновения возвращаться...

*)

Огонь уже позвал. На днях позовет и камень.
Через пару месяцев поманит осенний багрянец.
Глубина глянет нежно и пристально,
и ты устоишь...

7

Ну так учи же меня не любить тебя!

*)

О простое, немывтое русское слово,
обнаженное суффиксом вплоть до основы!
Коль привел бы Господь меня стать иноземцем,
наградил бы другими гортанью и зевом,
я бы плакал поляком, картавил бы немцем
и стенал благородным хасидским напевом.

*)

Слово было у Бога, и было оно убого.
Пока оно наливалось, пока колосилось плотью,
пока оно сомневалось, рука становилась плетью.
Пока постом и молитвой карал и спасал мой Бог,
я умирал у рук твоих и воскресал у ног.
Слово было убого — у меня, не у Бога.

*)

Ну так учи же меня не любить тебя!

8

Гремят жестяные крыши и звякают в мойке блюдца.
И нужно бы ветру «тише» сказать —
но нельзя проснуться.

*)

Как кто-то кричит на болоте
(кто, право, не помню — не выпь ли?),
так градины трутся в полете, а в мыслях
единое: выпьем.

*)

Нельзя, потому что стекла трясутся в своем квадрате...

*)

И то же отцовское «всыплем»
над городом в жидком помете.
И гаденький валик кровати на желтой
проплаканной вате.

*)

...и вся эта жизнь размокла. И если ты ставишь,
то выпьем!

*)

О Латвии, хрупкой и нежной, о гулкой нужде осторожной,
под утренний гогот тележный поется
всего безнадежней:

*)

под хлеб, полыхающий глиной,
под мясо в булжниках сыпи —
ну, где ж ты, подружка Арина! Вставай, неумытая,
выпьем.

9

Здесь Ромашкам Завета Зеленый Ковчег
Приготовлен И Спрятан В Ковыль
Потому Что Как Выпадет Праведный Снег
Так И Так Не Сносить Головы

*)

Обнимали страну дожди, золотили ведра.
Я гулял по ней, как мог, и мои сандалии
наступали, эх, на ее золотые бедра и
на голый плес червонный песок кидали.

*)

А немного вперед — и другая трава
На подкошенных жестких буграх.
И кузнечики знают такие слова
Под своими кустами, что страх!

*)

Мы на голом месте росли, на голом и сиром.
На коня вскочил: хоп-хоп, поминай, как звали.
Не держали нас тогда ни куском, ни силой,
не стелили спать и к столу никогда не звали.

*)

В жаркий вагон метро войду и выйду с поличным.
Схваченный за руку, буду бежать, извиваться,
приемисто брать бульвары; звать — ни шагу назад:
как он, пешком через Альпы,
бежал из Смоленска в Ошмы,
заткнув за погон пилотку, в заросли иван-чая (тогда
нас любили птицы) — да что теперь вспоминать!

10

Лежишь у окна и слушаешь рев моторов,
идущих в темном лесу за сто километров отсюда.
Каждую клетку закупорил плотный ужас,
как в день объявленья войны; всё, они...

*)

Пока не вломили пизды на соседних фронтах,
и наши старались держаться потише, подальше,
и я б не желал себе радости быть побежденным,
у этих уже отлегалось от сердца вполне.

*)

Вот странная штука – есть честь испытать поражение!
О, если б Россию поставили вновь на колени,
она бы могла, как во время Московского царства,
хоть кожей на выдел своей торговать за границу.

*)

И только потом, на солнце, сидишь и смотришь –
не идет ли кто, не несет ли чего?

*)

Но я, не хотевший той общей победы, от этой умру.

11

Куда же деться? Краков, Лодзь, Варшава.
Попробуй, разними любое слово на шорох губ –
останется трава. И ничего. А так – мороз по коже...

*)

Я в Варшаве открыл кабаре. На углу,
под землей, во дворе.
И – почтивших почивших святых –
ожидал вас у стоек пустых.
Как вы жгли золотые огни, как красиво сгорали они:
чья-то дочь, чей-то брат, чей-то сын
в окружении ваших машин.

*)

А что я знаю? Киев, Гомель, Брест.
Из Новгорода едет Копиевич учить Петра
в далекий Амстердам, да в номере мужик сказал:
«Скарына!»

*)

И текло из раскрытых могил.
Воздух, жаром напоенный, плыл.
И в перчатке дрожала рука
под дыханьем того сквозняка.
А под вечер в мое кабаре
в самом деле пришел Табарен –
и заплакало все кабаре: табарентабарентабарен...

*)

Попробуй, разними: Воронеж — нож; Варшава — вошь.
И так, спустя полвека, разбираем, в троллейбусе —
моя не по твоя, — что в окна прыгают, и вошью до Варшавы.

12

Из страны Магриба вчера приходил
один магрибинец, должно быть,
и сразу пошел во двор. А на куче грязи попкою Алладин
мучился — выхаживал свой запор.

*)

Все мое прошлое: уйди-уйди.
Все мое прошлое: китаец-прачка
бельем на снег. Завернута собачка,
замки закрыты. Никого не жди.
И никого не будет, ей-же-ей.
Бутылка пива, скользко, не упасть бы.

*)

Мы насрали всюду&всюду, где лишь смогли —
и вонючий кал
им каждому пхали в рот.
До сих пор в болотах снайперы залегли —
я почти ненавижу вскормивший меня народ.

*)

Все мое прошлое — одни напасти
у волка в пасти — для чего же ей?
Все мое прошлое лицом на снег. Хоть было раз: она
вбежала в сени,
в кленовый двор (кончалось воскресенье), и все бежит...

*)

Дурачок Гариб, отправляйся в страну джинов.
Здесь все людоеды,
а самый их главный — гуль. Брось их,
пусть они лопают свой говно,
называющееся ласково: «стуль».

13

И Очень Еще Не Пора Домой Музыкантами В Бремен
Где Завтра Больнее Вчера Вперед Гонорейное Время
Опять В наших Парках Грядут Танцы В Теплушках Или
Просто Напрасный Труд Комья Взымаемой Пыли

СОЛЯРИС

I

Взгляни же на меня, о ангел мой!
Я больше не прошу к тебе домой.
Я вовсе не причастен к воровству —
зарыться головой в твою листву
и древеснеть, сережками звеня —
о ангел мой, взгляни же на меня!

Безумной силы несказанный звон:
не сказано, не дарено, не взято...
Но прожито: — и брат торопит брата,
и их пути ведут из царства вон.
Как хорошо яснеющей душе
идти-брести, покуда суть да дело,
пока червяк перегрызет ей тело
и яблоко утонет в камыше,

и млея оттого, что ад и рай
есть на земле и век меж ними прожит,
и что возница ослабляет вожжи
и говорит упряжке: «Выбирай!»

.....

Я выбрал ангела зимой, дракона летом,
а поздней осенью — хромого князя света,
и пастора в заснеженном народе,
но выглянул в окно: Вильгельм уходит
и Якоб в поводу ведет коня...
О ангел мой, взгляни же на меня!

II

Черный бок прокопченный – что борт корабля;
у кого-то ладья, у кого-то земля.

У кого-то подворье, у мытаря трон –
сам себе и река, и весло, и Харон.

Снег не падал семь дней, на девятый пошел.
Тишина напозла: стало нам хорошо.

Я оставил свой след на загорбке стола.
Приходил – зелена; уезжаю – бела!

С грязной буксы – мазутом, с подошвы – землей,
с человека – улыбкой, а с дерева – тлей,

не дождавшись ответа, на землю стекло...
И, кричи - не кричи, не поймешь сквозь стекло.

III

Если все с тебя, милая, выкинуть,
если смыть с тебя копоть и грязь,
ты не будешь ни стать Береникина,
ни потрепанный временем князь.

Только глина твоя первородная,
только ширь скудоумных небес,
только степь твоя сине-голодная
да всю жизнь заикавшийся лес: –

но и серое тело рептилии
и сознание нищих коров
мне дороже полета Одиллии
и тройчатки волхвиных даров.

Мы пожизненно связаны белыми,
проносящими нас через дым,
голубями блаженно-несмелыми
да гортанным призывом Орды.

IV

Стало холодно как зимой. Где-то выпал град
(говорит мой дед, понимающий в этом толк).
Я как вижу в небе властительный синий град,
посылающий вниз холодный и колкий полк.

В первой жизни я полагал, что живу в раю,
и считал себя невесомым, как лист ольхи,
чтобы всю вторую плестись в голубом строю,
или падать в грязь и нудно писать стихи: —

но зато я вычислил, что золотая грязь
на макушке осени и голубой пустырь
над моею собственной — это все с пьяных глаз,
и в Валгаллу к Одину время мостить мосты.

Все пути в нее перекручены, как спираль,
перепутаны, словно волосы, и ползти —
трижды тридевять — через просеку, через рай,
через изгородь перекинуты все пути.

ИЗ ЗАПИСОК СЕРГЕЯ ВЕРЕТЕННИКОВА

О вере

Я вглядываюсь в Польшу по ночам,
оберегая от дурного глаза.
Мне по нутру, что стражники кричат.
Ее еще не тронула зараза.

Повсюду спит языческая Русь,
не помышляя об отце и сыне.
Когда еще я, бедный, доберусь
предать тебя седеющей чужбине.

Соколики на белых лошадях
пересекают белую равнину.
Ты повиси, голубчик, на гвоздях,
не соблазняй о празднестве невинной.

Покуда Аввакум к нам не приспел,
пока Федосья не бежала голой,
Боян твой вещей по-иному пел
и говорил совсем другим глаголом:

поднявши палицу на нем лежит печать
а не поднявши палицы тем паче
принесший меч не будет отвечать
он только уксус пьет и желчью плачет

О мудрости

София, мать премудрости людской,
стеснялась азиатских городов.
Она стремилась обрести покой
в тиши своих молелен и судов.

Так что имеем мы в краях чужих?
Какую в их игре играем роль?
Нас по заплаткам чествуют стрижи,
а провожают просто так — изволь!

Мне удивительно, что Бог летит сюда,
как голуби под сетку — ночевать,
за изгородь мещанского стыда
лизать горшки и войлок набивать.

Сыр воздух, сыр. Сыра земля, сыра.
Три года кряду остывает мир.
Раскиданы поля по хуторам
и галками зачитаны до дыр.

О любви

а эту женщину я знаю вот-те крест
она внушает мне последнюю надежду
сшив белый флаг из порванной одежды
на ясный месяц к перемене мест

она зажглась для нас для подлецов
и на ее лице пылает роза
а между пальцев поцелуй мороза
и на перчатке светится кольцо

я знаю есть другие небеса
другие имена сильны и святы
но что в них нам мы высотой богаты
нам дороги иные голоса

нас от петли спасает лишь одно
что память некрепка что торопливы лица
в слепом мозгу стремящиеся слиться
что завтра новый день что спать пора давно

О молитве

такой-то вторник дождь и тает все
такой-то свет разлитый над равниной
нагруженный подарками осел
ползет на кручу лед мешая с глиной
унылое являет Рождество
о как давно я не видал Его
идущего без страха и упрека
хитон в заплатах голубь на плече
сложившего шансон о палаче
на языке последнего пророка
здорово Брат оглох здорово Брат
на Царство венчанный вольно ж Тебе поется
а я гляди просиживаю зад
придурочным Иосифом в колодце
подписан мною договор о том
безжалостно карающий измену
и ангел с перепончатым хвостом
не убежит хтонического плена
подвалит полноценная среда
навалит снега по уши да с крышей
и на земле осеннего стыда
я ни псалмов Давида не услышу
ни дудочек ужасного суда

когда на нас божественный глагол
на огненной несется колеснице
не только грешник оно боится
но даже тот кто праведен и гол
уходит в степь акридами треща
я будущему веку обещал
дешевыми словами помолиться
за нынешний за высший из кругов
на тощий крест в ограде из снегов

О жене

значит Божия завязь не вся сожжена
иногда человеку дается жена

и обретший жену хоть и нищий и злой
получает в придачу огнище с золой

нарастает вокруг паутиною быт
хоть хромой да кривою а все не забыт

за порогом силен и молодчик и хват
а в твоём терему лишь горшок да ухват

как ни бьют муженька ни пинают и все ж
воротился домой сам хорош и пригож

МИРИАМ

*)

Лишь потерянное у меня, лишь то, что в тумане;
плачущие со мной, помнящие меня.
Как отзвуки за стеной, как дни с журавлями,
как сны во сне, как ночью в мокрых санях.

Лучше всех зрачков взгляды твой и ничейный.
Рот, что ждет, зная, что не придут.
Бьемся, как платок бьется у складки шейной,
кушаем колоски, что собирала Рут.

Много милых, и их жалко больше, чем жалких.
Дни прорастают вниз, как гриб-дождевик.
Скапливаются в углах памяти-приживалки
в той слободе, где дождь: чвик-чвик-чвик.

*)

Ищешь? Что сделаешь, если найдешь, нет,
скажешь, если встретится, и кому?
«Свет, — я говорю. — Только свет,
обращающийся во тьму».

Было когда-то, и, значит, есть
роза в небе, сад и куст ирги,
выпотрошенный дроздами, в чьих клювах весть,
в жилах — кровь, а в сердцах враги.

Память моя — три сестры.
Третья, маленькая и глупая, любит спать.
Любит за околицей жечь костры,
жечь листву, прутья жечь, ветхие платья.

*)

Ты ли, — скажи, — тобой выношенный под сердцем,
дар от тебя ветрам — волосы за плечо,
вброшенный, как и я, в край этот Winterschmerzen:
Что он вам обещал? С кем говорил, о чем?

Как донесу шум леса, хохот падавших шишек,
шевеление игл, ветер, лишенный прав,
к праздничному столу — может быть, через крышу -
погнутым решетом: вымолив, взяв, украв?

Не потеряв из глаз солнечной круглой линзы
(помни, терять нельзя, ибо тогда предаст
тот, кто с тобою ел, и огорченно брызнет
слезная влага с губ, как поцелуй из глаз...)

В Меллужах, где туман смешивает, как нищий,
вещий запах еды с вонью помойных ям,
мышками под дождем и воробьями в нише
спрятать таких, как мы, думаешь, Мириам?

ЛИНИЯ

1

я писал о Повонзках
и я попал на Повонзки

поскольку были закрыты
дешевые магазины

нам некуда было пойти
в тяжелое воскресенье

я видел чернильную кляксу
над могилой Тувима
и стебли змеиных астр
перед камнем Гомулки
спи, коммунист, а я
сну твоему порука

ухоженный ровный асфальт
розовый запах туи
шаги богатых людей
по коммунальной аллее
тонкие мундштуки
белый ворот рубахи
легкая лысина и
нимб над сутулой спиной
сиянье денег и славы

на коммунальных Повонзках
простая могила Тувима

но я не имел и цветка
бросить в изножье праха

там было четыре белки
мы звали их: «Бася-бася!»
одна была рыжей и смелой
она подходила близко
но хлеб из рук не брала

2

Накинут платок Варшавы
на голые плечи Вислы
Алмазная побрякушка
почти у пупка повисла

И пляшет и пляшет стерва
качает за судном судно
обходит кругами церкви
где спрятался Бог паскудный

А что ему Богу надо?
А надо ему — малины
А мы ему шоколада
у нас свои именины

И кто-то железным пальцем
уже за решетку взялся
а Панна ломает пальцы
откуда такой он взялся!

А он вообще не брался
я сам ниоткуда пани
я — наихудший агнец
позднейшего из закляний

Викарий ушел
и унес ключи
и сторож с ним водку пьет
Я слушаю Бога
а он молчит
как море в осенний лед

3

Таможня дает добро на вольное плавание.
Моя республика вышла меня проводить.
Всюду сухо, а в городе Депилсе дождь.
...И мой привет от вашего нашему дому —

Камбала огромного моря не гниет с головы.
Она разлагается там, где преют чешуйки.
И, слышав их запах, погружаемся в тлен
мы, частицы рыбы, носители маленькой правды.

Прищур шоссе, оскал пешеходной дорожки.
Не о властителях речь, ибо они далеко.
Лишь мошкара бьет в стекла «Фиатов» и «Ситроенов»
и, выходит, снова Польша учит нас жить,
а я прощаю ей это.

Я все прощаю за поле маков и месяц над необжитой землей,
плывущий сквозь пальцы делириков и абстинентов,
оберегая дом и любимый балкон,
где я, бездельник, добился работы:
в огнях ночного шоссе
зреть призрак надежды.

4

Старый Чеслав не понял над чем посмеялся Годо
потому что считал что за «от» начинается «до»

он забыл что вагоны бросают в дороге лассо
чтобы ход шестерни передать на свое колесо

Это место без имени без положенья плато
здесь гуляют сомнения в маминых драных манто

потому что по-польски судьба называется «лес»
и рыхла и мягка как китайский размоченный лесс

Чемоданы и торбы забрал поворотливый кар
он проспал и промедлил а поезд ушел за Неккар

отгонять комаров и в тоску заворачивать сплин
и лелеять мечту от которой устал Гельдерлин

5

Где та, что склонила крылья над нашим заросшим гробом?
Где та, что в росе горчичных цветов омочила ноги?
Узнай, что тебя в могилах ждут трупы твоих хоробрых,
И что под плакучей ивой тебя ждет ангел убогий.

Я сам тебя жду, как ангел — безглазый, безносый, хилый.
К обрубкам моих предплечий чужие слагают вины.
А я не могу подняться, и даже на взгляд Рахили
Не то чтобы древний жернов — окурка не в силах сдвинуть.

Хиреет в пустыне голос; полсвета лежит в руинах;
Чудная слизь набегаёт на серые скулы пляжа...
И тех, кто приходит молвить с тяжёлым и странным Сыном,
У самых ворот пугают правдивые щеки стражей.

А мы не выносим правды, наш профиль нестрог и зыбок.
Лишь девочка в синем платье садится под деревом жизни,
И лишь иногда из глубины всплывают большие рыбы
И кружат среди горьких лилий и слез о дурной отчизне.

6

Выжженная на бронзовом лбу звезда
Выведенный из обоймы в расход солдат
Выслеженные и высланные сюда
Каются и ждут Твоего суда

Духи их завсегдастаями стола
Вьются паутиною вокруг ствола
Городу оставляя свои тела
Знают что ночная Земля круга

Улицы ополаскивает труба
И герой-любовник ночной трабант
С клумбами и рабатками вместо лба
Радостно отправляется грабить банк

И в сигнальном пламени маяка
Чайки испугавшейся светляка
Легкая и мгновенная смерть близка
Как дыханье раненого стрелка

Это не наше время и час не наш
Наши здесь лишь кисточки и гуашь

7

Всюду тихо, а в поезде тихо, светло
Каждый перрон означает сердечной мышцы
двукратное сжатие — и болевой заслон:
глубинный вздох, как заповедовал Ницше

Там, за картофельным полем, чернеет бор
двуглавых зданий стройные силуэты
Связанный из шершавых жердей забор
скрывает от глаз изгиб поселковой Леты

И страшная черствость необратимой судьбы,
чей произвол так пугает солдат победы
Давно изломаны копья об их горбы,
и в топках кончился уголь, а те все едут

чувствуя несродненность с любой землей,
кроме, может быть, той, что в конце дороги
ластится к белым шеям сырой петлей
и отрывает норы в свои берлоги

8

Три части света: озеро, ветер, гранит —
Стойкие отражения трех зеркал.
В камере над обрывом Медуза спит,
а древо расщепляет твердыни скал.
И линия меж ними почти звенит.
К нам Бог спускает корни свои с небес,
Напутствуемые колебаньем жал.
Он резчику внушает закон чудес,
А мастер им закаливает кинжал —
И мы уходим, звери, в ажурный лес.
Нескоро мы начнем отдавать долги,
Пришиты паутинкою за хвосты.
Нескоро мы начнем узнавать других,
Поскольку три столетия слепоты
Даруют обольстительные враги: —
И резавший насмешливо этот дым,
И дравший нас насмешливо за усы —
Сознаниям нашим радостным и простым,
Чтоб рухнуть одновременно на весы...
А еж и уж сплетаются в знак беды.

ГАЛИСИЙСКАЯ КНИГА

А

Кажется, затосковал с утра.
Одевшись, вышел на улицу – был январь,
такой, как прежде, как год назад, как вчера:
бесснежный, но слякотный. Их государь
к выносу знамени все еще строил полки.
И тише воды, ниже травы
сквозь смутные звоны в воздухе имя реки
в серых сумах заплечных несли волхвы.
Ладно, – я подумал, – мелеет все.
Обнажаются корни, виднеется крепь.
Осыплется по самые плечи утес
и вечные резцы свои исчисет вепрь.
Только горечь: горечь осенних столов,
горечь анисовки и темных лиц,
горечь донесений моих послов
чудом скапливается в ложбинах ресниц.

В

Мы идем от звука; так складываются следы;
так случается небо, сложное и простое.
Хрипом за окном расплавиваются сады
за крюки и лестницы – последним – то есть,
жалобами, в которых звучание «и»
или «ли» приводит к рее и флагу:
как пятнают асфальт тяжелые корабли,
слезы пачкают полотно и бумагу
разговора, где каждое слово – плач,
вернее, даже не плач, но предчувствие плача,

которое больше, чем плач, ибо важнее стрела,
звенящая в пальцах ловчего, прямой удачи
определенного попадания в какую-то цель:
неважно, в сердце или уста, открытые клятве,
или — и это наигорчайший исход — на бесконечно
близком лице
в яблочко... И, видимо, вряд ли.

С

Милая, снизойди ко мне в душу.
Я открою свой коричневый улей
ветру, чье дыхание небо сушит;
не серебряной пуле, хотя и пуле.
Иней золотит складки синего платья.
Косы твои в снегу, под снегом плечи.
Знаешь, мы с Твоим, наверное, братья —
я пастух свинячий, а Он овечий.
Темен я, не чту ни Отца, ни Духа.
Но к тебе пришел. Прошу не масла, не хлеба:
силу яви! Пошли мне пера и пуха,
что б и Он послал, ежели б Богом не был.
Дево, радуйся! Миром творим согласие.
К полю поле льнет, к Сынку ослиные уши,
к звону — кладбище. Ангелы купол красят.
Ангелы... Снизойди ко мне в душу.

D

дерзость Богиня дай верни хоть шепот и кашель
буду на всех углах шипеть в постные спины
так я знаю старик пел гнев Пелеева сына
в сыром кафе за плошку гречневой каши
мышинные песни климат и впрямь не очень
я тоже был сыном не стал отцом и оставлен Духом
у польской судьбы моей из шеи вырваны клочья
томит уста врожденная сухость
впрочем вот хрусталь из коего мы пьем водку
золотое тиснение на кожаных переплетах
в зеркало поглядишь увидишь свою бородку
лисий мех на шее сморщенного идиота
время бритвой выскоблено из книги
кистью беличьей выбрито по затылку
запечатано семью мудрецами Риги
алой кровью в бронзовую бутылку
и никто никогда не уверует в расстояние
не дотумкает в каком мы сварены тигле
(я имею в виду Семеновское сиянье
белый шарф пионерские фигли-мигли)
все Богиня спать ты уже свободна
бей под дых запирайся на все засовы
уносишь сквозной электричкой в Гродно
отражайся в осколках стекла косого

ВРЕМЕНА ГОДА

А

Полны осенних предчувствий,
дни зарылись в солому.
Их подслеповатых глаз
не откроешь ничьим ключом.

Страшно! Страшно!
Это не я – Сентябрь
с рыльцем летучей мыши,
шейх ржи,
«Краткий курс увяданья» в нагрудном кармане
нес
и рассыпал листки.

Тлен и ущербность.
Обнаженная ветка:
голый хлыст, не расправивший листьев.
Равенство, изначальная нищета, терпенье,
горе, горечь, холод, слезы Ундины.

Как блудный сын,
в лес возвращается воздух.
На коленях униженно целует корни берез.
Дышит мхом, сажает птиц на зарплату;
трясет головой в репьях.

Встав в поле,
сразу промочишь ноги.
Сок земли, ввинчиваясь ужом,
поднимется по кровеносным каналам.
Ты расцветешь, и земля
стальной материнской хваткой цапнет по сердцу.

Б

И все-таки еду. Сделано
самое главное дело.
Зажжены костры и брошены камни.
Вышли следом те, что их соберут.

Зрение стало резче, как будто кто-то
взял зрачок и вытер наждачной бумагой.
Осень, мосты, ожиданье, рассудок
канули в бездну канализационных труб.

Я тогда и не знал, какая струна
натянута между небом и городом,
между голодом и деревней,
когда в черни бань плавится золото сараев,
на дымный асфальт
ветер смахивает с балкона шоколадные трусики,
осиновый кол пронзает сеть паука
и в сизой траве копошатся ежи.

Рано утром я был динозавром в утробе матери,
ревел во время весеннего гона,
сдирал кожу о мшистые валуны,
а между моих ушей
еще текла слизь предыдущих рождений.
Море крови! Вот что значат твои приливы,
частые отлучки от берегов.
Я, скат из твоих глубин, цеппелин, надутый воздухом,
живая чурка с прекрасными глазами раввина из Ковно,
ложусь на твою волну и гребу под себя.

В

Из опавшей листвы, из снега за окнами
поднимается синий свет —
сон рябин и память росы.
Прорывается тонкий звук,
ткется слово,
прядется матерью польская песня.

Стон за стоном, за вздохом вздох расширяется плат;
всхлип за всхлипом — пояс,
бахромчатые концы.

Что между ними? — Мелочь,
река,
овин
и казачьи сотни.
Старый резчик на камне
выбьет: «Молитесь за нас».

Да, молитесь за нас.

РОЗА ТУРАЙДЫ

I

Белоглазое солнце меж узких бойниц
точно пан среди холопов поверженных ниц
или пахарь проложенных Богом границ
ходит с плетью незрячей.

Дозревает в груди молодое вино
поднимается сердце высокой стеной
и железная цепь золотое звено
по-разбойничьи прячет.

Недвижимы и движимы криком совы
мы лежим на зеленых планшетах травы
на которые бросили шар головы
бесполезные плечи.

Оседает в прохладные шурфы гранит
на тяжелых платформах везут динамит
а с востока идет синеокий семит
за безглавым Предтечей.

Я как птицы небесные быть не хочу
даже если их путь и подобен лучу
я небесную грубую нитку сучу
вызывая опалу,
чтобы в призрачной живородящей грязи
вовлекаясь в единую складку стези
над потухшими лбами курганов скользить
благородным опалом.

Так легко что к ногам облетает кора
так светло что не знаешь какая пора
так неслышно хозяин уехал с утра
по свои десятины.
Пересыщенный смолами воздух горит
то ли время бежит то ли птица парит
то ли падает страшное бремя зари
на господские спины.

II

Под счастливою ношею вычурных крыш
прячут эркеры длинный простуженный нос
и живая вода из застенчивых ниш
вытекает прозрачна как первый донос.

Вместе с кружками солода выльется день
на бездонную улицу тысячи врат
и изящная шестиконечная тень
прикоснется к булыжнику жалом тавра.

Этим вечером в город войдет господин
неумело качаясь в ослином седле
в судьбоносном терновнике ранних седин
сам себе от рождения рыба и хлеб.

Его голос коса его знамя полынь
у него голубые озера-глаза
шевельнутся под кожей весла-мослы
захлебнется случайной волной стрекоза.

Он притих за одной из насиженных парт
перед выходом строятся люди в каре
и кровавы что черви с засаленных карт
его руки уснувшие на букваре —

это если ты помнишь есть пойло для нас
мы лакаем его как епископ кагор
и в смиренье хоронят свои имена
работящие духи с сиреневых гор.

СЕВЕРНАЯ ЭЛЕГИЯ

I

часовой на пестрой вышке продрал глаза под взглядом сойки грибник омочил кусты мы одиноки яростны и чисты я сейчас попробую рассказать что до наступления темноты целлулоид колючая проволока кирза немного портят моренный пейзаж сушат весла поздние корабли мы живем как жили на самом краю земли охраняя нищие рубежи мою ночью золото журавли мураши штурмуют вечные блиндажи отправляются странствующие ежи как и прежде в горы из наших гостей на развилке у одной из местных частей мы присели и терпеливо ждем а над нами расстроенный Прометей изливается неслышным дождем ты не спи поскольку зная в твоей руке отступать некуда позади река по цветку ползают два жука их монашеская любовь сладка ото всех от нас на вялом сыром песке остаются ненависть и тоска

II

паралич сосны волны без горизонта я пью сегодня за парапеты без моря точнее за создаваемую ими зону некоторого отчуждения судьбы от горя а море ушло обнимать блуждающий остров прикопанный и проросший уже отчасти воспринимая судьбу достаточно просто мы видимо отмежевываемся от части страждущих и болящих равно как коротконогих красоток их меценатов по осени дорог набегают много вот выдумают считать их им грош цена-то

река петляет меж ассирийских склонов мы беженцы на ее
песках ожидаем пыток и медленно влачится по небоскло-
ну полночный ангел ласточка недобиток пойдешь напра-
во женишься на полячке узнаешь вкус вина новый стиль
одежды развеет праведник на тонконогой кляче шляхетс-
кий гонор варварские надежды за тысячи весей за тысячи
верст за тысячи весен уходят наши мы складываем гроши
их в коробки из сухих ореховых досок и кипариса малые
и большие

III

вреден север но мягок и незлобив легкой рябью подернут
глодан березовой оспой «что я здесь?» недоумеваешь про-
бив брешь в стене вылепленной из воска шелушатся и опа-
дают леса оголяя спину здания вот и разверзаются желтые
небеса загораясь в предвкушении рвоты гуттаперчевый
шпиль щекочет кожу лица зев асфальта тревожит носок
ботинка из кустов навстречу объятиям наглеца прянет пла-
тиновая блондинка мало черных ярче выражен русский
тип неженки ездят в метро пока небогаты Голос совсем
забыл меня и почти не докучают ни боги ни черт рогатый

ПРОЩАНИЕ С ОТЧИЗНОЙ

1

Не кляните меня Я верный слуга Отечества
Не губи ты меня Я тоже солдат поверь
Я ошибся выпил лишку простился вечером
а к утру ушел забыв ключи и захлопнув дверь
Я избит и связан паучьими белыми нитями
Только Рим стоит на семи холмах только Август сидит
верхом

Лишь одна Держава знала можно ли ночью выйти мне
покурить постоять во тьме подышать грехом
Но когда судьба сжимает в кармане нож или
фигу яблоко бараньи рога
я хочу Европы голодной пустой заброшенной
откусить кусочек съесть говна-пирога
Я хочу последней ласки замызганных станций
воскресенья ногтей со стершимся лаком
Если кто и умрет он тотчас будет оплакан
в соответствии с ходатайством об остаться
Там где самый воздух истоптан подковой кесаря
там где каждый камень истыкан тысячей шпаг
бьется сердце мое что часики в лапах слесаря
и лекалом Господа выверен каждый шаг

2

я затерян средь кладбищ и за ночь
сбрасывающих листву каштанов
улиц в мгновение ока
облекающихся в белый кокон
муравьи трамваи созвездья
вот кому я послан небом в соседи

свора псов над погорелую Троей
вот оно наследье героев
мне навстречу голубые пружинки
прыгают свиваясь в снежинки
у Луны опять есть платье и сакта
кто заказывает тот платит так-то

3

зима метель и в крупных хлопьях
я шел по снегу в красных струпьях
а во дворах дрались холопя
и кухарье варило крупья
в котлица сыпались волося
с покатых лбищ и грязных шеищ
я шел сквозь тухлые отбрься
хромающ слепнуц и немеющ

ПСАЛОМ

...я всегда сутулюсь, как тарсеянин,
так же красноречив, как он, и, не дай Бог, мой затылок
начнет окружать такое же вот сиянье —
как же, Павле, решителен ты и пылок:

Величит душа моя Господа, ибо нету
ни больше, ни меньше Его никого; силуэты на шторах
пахнут дымом, которого нет без света
и которым пахнем все мы об эту пору —
которой, не успеешь и оглянуться, Аид
тычет в щели стен из-под земли свои башни.

Даже если ты любим последнею из Данаид,
все равно твой путь похож на муравьиные шашни
на поверхности, где sigma складываются из iot,
напряжение шага равно натяжению лопасти,
и сердце, что преданно и терпеливо бьет,
неожиданно заканчивает ударом в пропасть.

И путаются голоса и даты, верхний слой прорастает
в нижний,
мерещатся щиколотки в снегу — мы пасынки лета.
Застегивает под самым горлом рубаху ближний,
и славит душа моя Господа, ибо нету
уже ничего. Ни ранней любви, ни поздней,
смыты вехи, краска со стен облезла...

И лик Его, выточенный на плахе, грозен
и выгравирован на стали меча и жезла.

ЖАЛОБЫ

Все прошло (проходит) пеплом и прахом,
Оборачивается светом.
На пустых прешпектах, тронутых страхом,
Не осталось тени улочек гетто.

Все прошло (пройдет), обернется тленом;
Не оставит запаха постояльцев
Нежность пяток бомжей на лавках метрополитена,
Ощущение тайной власти в кончиках пальцев.

Память и вина воскурятся вместе,
Порознь и частями сгорая
В память об утраченной нами чести
Вечного содержания в стенах рая.

Знаешь ли, как мало надо, чтоб выжить
Без слезы и вопля или болезни:
Хлеба, обязательно мяса, Ты же
Чем беспомощнее и печальнее, тем полезней.

Кто мы? Лишь небесные очи,
Скашиваемые все ниже, левее...
Хрен с ним, с Духом! Дух что — он веет, где хочет,
А в последнее время нигде не веет.

Птицы небесные любят просо,
Пьют росу, по утрам умываются плачем.
Бог наш слаб. Мы у него ничего не просим.
Лишь жалеем его и плачем, плачем.

ЕВРЕЙСКИЕ СТИХИ О ЛЮБВИ

I

от отеческого дыхания воздух стынет
когда я напиваюсь пьяным то сплю в пустыне
и меня мотор кибитки шайтана греет
посреди шакалов Господь поселил евреев

ну, а ты сейчас в дороге в сторону Свана
не грустишь о плахе, которая ждет Ивана
хотя он до встречи с тобой и евреем не был
не плясать тебе, Саломея, под этим небом

оппадают груди к пупкам, к ремешкам браслеты
и сияют перстни на пальцах худых брюнетов
и, используя забористый здешний мат
я скажу тебе, родная: к ебени мат

все столы субботы в ошметках вина и тела
за которыми ты одна не пила, не ела
все потоки жирной манны в густые кущи
где огонь палящий и ласточкин хвост стригуций

ляг со мной: я равняюсь всем стойкам пабов
всем ножам грызущих пепел в пыли арабов
и дела мои король, облеченный свитой
золотым пером заносит в парчовый свиток

если в руки твои он падет, терпеливая чилица
мне настолько по фигу то, что со мной случится
что в кругу проказы, чум и конского сапа
я молюсь тебе, стоя лицом на запад

II

Дом стоит на песке. Его глухая стена
не желает видеть мира. Я вместе с ней.
Я гляжу на тебя сквозь прорезь короткого сна,
как глядят на свет сквозь узкую щель в стене.

Над пустыней моря и морем песка труба
перископа и лазерный луч-игла.
У тебя ледяные пальцы, одна губа,
серебром очерченное чело и нету глаз.

Как солдат, узнавший в маске лицо врага,
я прикован к цели двойными ушками скоб
и уже избрал последний ландшафт: снега,
оттеняющие пики твоих сосков.

Я верблюжья упряжь, удобная при ходьбе.
Я виток колючей проволоки; на нем
моя кровь, взывающая к тебе,
расцвела вибрирующим огнем.

Сухопутному разуму отдан приказ «люби».
Я люблю тебя так, что пучится на песке
извлеченное тело из самых своих глубин
и подвержено эрозии и тоске.

Так вокруг мелеет пустыня, и гибких рыб
ей уже не нежить — но только не мысли об
этом, но разврат коричневых глыб,
каменный и тяжелый, ей морщит лоб.

III

мажь-ка на творог хлеб а жить-то все тяжелее
мой дневной горизонт мощен опять кирпичами
горе мне я ослеп бабочкой в замке Клее
я увидел женщину с твоими плечами

я должен стоять на коленях перед этой беззубой жизнью
за то что Бог меня терпит и холит в гнезде осином
что как на большой дороге рога выпускают слизи
так я распускаю руки над розой и апельсином

когда я купаюсь в море горячем от римской соли
маленький ашкенази посередине мира
я думаю что охотно продал бы свою волю
первому бедуину за 10 кусочков сыра

и если бы не прохлады осенней литые чашки
томленного винограда в застенках шука Кармеля
лизать твои выходные пальчики первоклашки
с запахом неизбывным розовой карамели

нет-нет да и впрямь утихнет тяжелое сердце бычье
и ревность в мангал на крыше не станет швырять поленья
и вымоет плач бесслезный из мозга долг и обычай
и я расслабляю мышцы и падаю на колени

IV

Я приехал сюда из серой сырой страны,
на краю которой, смиряя медвежий рык,
выползает в дюны гребнем седой волны
белокурый город, зовущийся нами Riiig.

Этот город ревнив, как женщина, и любой
не сегодня-завтра падет его жертвой: мглы
голубые зубы выпьют твою любовь
и напустят в жилы желтый настой смолы.

Сквозь его хрящи я мякоть твою пронес,
но болею им, как сифилисом, и он
выжирает мне ночами глаза и нос
и тревожит щупальцами мой Сион.

В этом городе, даже если тебя убьют,
даже если меч Господень, как снег, — молчи.
Среди пьяных башен ты праведник, и твою
кетонет пасим бессмертия ткут ткачи.

V

Геликоптер, облетая полосу змеиной кожи,
Не бросает пера Симурга взамен балласта.
Гениальный мэтр большой похоронной ложи
Закрывает двери своих коптилен: Баста!

Здесь, в краю разрозненных пятен моря,
Я услышал (скрыть ли?) плачущий голос,
Обращавшийся ко мне на языке территорий,
На которых произрастает овечий волос,

Конский хвост, черный хлеб и белая древесина:
Пара слов на языке янтаря, что пара
Бусин во имя Отца и Блудного сына,
Сдвоенных случайным щелчком-ударом.

«Слышишь ли меня?» – Я слушаю, но не слышу.
«Напои меня!» – Я умираю от жажды.
Я лежу на обдуваемой плоско крыше,
Окунувшийся в единственную тут реку дважды.

Пламенеет срез огромной сахарной дыни.
Разрывая плоть – стоящую насмерть лаву,
В боевую грудь холодной чужой твердыни
Я вырастаю во имя твое и славу.

В твою честь в пустых кроватях не тужат ребе,
В твою честь садистки-матери душат бэби,
Милостью твоей солдаты нижут умело
На шампур штыка кошерное мясо тела.

И когда их грумы в конюшнях ласкают крупы
Царственных кобыл молодых кумиров,
Бронированный геликоптер развозит трупы
От любви скончавшихся граждан мира.

МЕТАМОРФОЗЫ

*)

скорость заворачивает. Завороженный
забываешь, откуда пришел
чей ты сын
где твой дом

здесь мой дом

мои последние письма не будут посланьями Цинцинната
но прошениями о помиловании, отправленными
на твое имя
любительская кунсткамера, отдел любовных мандатов
медальон, галстучная закладка, мальтийский крест
чиркнешь спичкой — письма изогнутся
зашевелятся живым существом: саламандра
костерок из книг, закат

все огни огонь

*)

ночь пришла и встал на языке моем табор
слов, одетых в плахты и цветные жилеты
чад мрака и тьмы, исчадий радости и надежды
не сказанных ни мне, ни тебе, ни третьей

ночь душна. Вернулась осень к своим пенатам
линия огня; фронт, не имеющий тыла
порох свеж, и каждый ходит под каждым
тлеет ли вереск, бензин горит — не все ли равно

нам не страшно, ибо не пробил час нашей последней жизни
котом ли, слоном, но нам еще жить и жить
исколотые шиповником руки
прощальные астры
честный пот, пролитый в подмосковных садах

ухожу, сутулясь

*)

щеки мои в огне
лоб — в ледяном стекле
я еще мальчик. Мне
двадцать и девять лет

в облаке чистоты
ангел встал за спиной
а за стеною ты
(капитальной стеной)

мама, постель, уют
проповедь о тепле
гости тебе поют
песни военных лет

наша с тобой звезда
спрятана на груди
я еще мальчик. Да
власть моя впереди

*)

жизнь моя — след
облачка на твоём лице
так же медленно и горделиво поднимаешь ты веки
и тень от твоих ресниц
защитит любое солнце

мой странный край
рыцарский день; ночь в фольварках
запах крестьянских усадеб острее
чем крысиный хвост
в плавнях, тряся головами, засел дракон
и зовет на битву

астральная связь племен. Поединок с тенью
в окно влетает пуля, пущенная Чапаевым
мимо меня текут воды Орды и волны Янцзы
а я не вижу ни ближнего, ни дальнего света

кони ржут за Сулою, но дружина молчит
иди, собирай меня

*)

по ночам, когда гном говорит, положи руку на сердце:
старость
и бдит надо мной, а сон разглаживает морщины
стынут зубы, в ящики грузят тару
небритые лица в подушки прячут мужчины

как тогда, сто веков назад, я растер меж ладоней вереск
Джебраил оседлал мою грудь и сдавливает ключицы
незапятнанный родник моей чистой вере
окропляет крылья, с которыми часто снится

Книга — бархатистые листы под ногами
чудо-гости: покружились и таем
столько верных линий брошено на пергамент
что он стал практически нечитаем

что с числом песчинок счетом мы будем квиты
на моей дороге из Мекки к тебе в Медину
всякий раз мне Господь посылает с тобой такой длинный
свиток
что я только к утру разовью его наполовину

*)

жить под синими потолками в присутствии двух светил
или побриться, надеть костюм и в сорочке
прыгать из окон четвертого этажа
на брусчатку

улица Элизабетес, улица Екаба
музыка Брамса, музыка Палавиччини

все это чтить
то есть, словно под парусом
плыть под ресницами
луками экзотических рек
над башнями незапамятных городов
подбирая расплющенных
униженных и оскорбленных

мой кумир
я сношусь с тобой через вязь времен
почтой когерентных лучей
на земле этой, — я доношу, — каждый унижен
на этой земле нет прямоходящих

и сердце полнится скорбью

*)

беден я, Господи, не по своей вине

тщетно, клоп на ложе Твоей рабыни
с паросским мрамором бедер
сандаловым деревом ягодиц
делю тревоги и нужды

любовь не имеет длительности, как не имеют
ее такие вещи, как смерть и память
где из трех гетер одна танцует
белый танец: дама напрашивается к кавалеру

и только лишь если руки твои
сомкнутся быстротекущими водами
над моими плечами

я возвращаюсь

в дом без греха
в час до распятия
в садик братца Франциска

в кольце твоих рук, сестра
по гулким дворам
ходил брат-старьевщик

шурум-бурум
старье берем

*)

я никогда не знал, что ты суеверен
я не видел тебя стучащим по деревяшке
Римлянин, мастер позы

ты не тот, за кого мы тебя принимали
ты не воин — дакская статуэтка
ты наследный принц эбеновых джунглей
по ночам ты объезжаешь свои владенья
и обдумываешь метаморфозы

«вода превращается в камень
камень в птицу
птица, тая, оставляет лужицу крови
стонет снег под черными каблуками
и в дугу срастаются чьи-то брови

Джезу, Джезу, сколь мало значат для побежденных
памятки и лаковые открытки
у креста собирающиеся жены
носят на ресницах орудья пытки
все теряет качества или свойства
превращается в противоположность»

так и ты — ты быстро ко всему привыкаешь
ешь улиток, спишь на ложе Прокруста
и уже никто не может вспомнить твоей улыбки
означавшей смуту и безнадежность

ИСПОВЕДЬ

1

В городе кошачьем и голубином
день-деньской хожу по воду
любить тебя и не быть любимым
слаще чем служить Господу

Я растратчик убийца откуда я здесь
от доспехов покинутых войск
их чешуйчатых кружев которые месть
прорвала и изъела насквозь
не от волчьей ли сыти паучья да снедь
не от ядер ли да голова
если я тебе волк ты мне бурый медведь
я дупло ты же мышь и сова

Что мне в этом ах что мне в этом
если нет твоего птичьего тельца
на него наложено вето
беспардонным галилейским умельцем
на озерной меркнувшей глади
меня рыбий профиль твой кличет
и устам моим Христа ради
теплый пух стопы твоей птичьей

2

Налево легла Варшава направо твои шаги
твои сандалии ржавы бархатны сапоги
тело твое баранина на вертеле в день поста
губы твои как падаль что ястребу застит уста

Красивая жизнь ах красивая жизнь
гармония амфор и дев согласие купца и товара
на пороге первые платежи
я тебе не пара

Я никогда никуда не вернусь ни в славе
ни в величии ни во главе ни в клане
трус и выжига я тем не менее правил
более достойных чем желчь желаний
лунные деревья в костюмах иеху
тянут вверх свой щит к простреленным тучам
я вернусь таким же каким уехал
я везучий

3

И чаша исполненная что слез виноградин
кажется скатерти хищницей и приманкой
если нимфа пришла к источнику в вертограде
то как это роскошно звучит вода нимфоманка
ветер-нимфоман дерево-нимфоманко
грустный турок клюкнувший спозаранку
ты же господи худого слова не говоря
но роняя его как янтарь и цедру
ты же господи в один из дней января
теряешь ожерелье из катышков (рифма) сердца
ибо только тяжесть чужих и свинцовых вод
обкатала сердце мое ну вот

Я брожу по левантийским базарам
с караванщиками Белостока и Ломжи
я дышу их славой и позором
но думаю об одном и том же
Примешь ли ты меня обратно
потому что если ты меня не примешь
я исчезну как табачные пятна
выкуренной сигареты «Прима».

БЕРЕГ ПАМЯТИ

— Видимо, так мы сумеем убежать от дождя, —
подумалось мне, и мы спустились в метро —
Фортуна и я — низринутись,
едва по отвесной линии вниз хлынули капли,
в огромную арку по лестнице, а за спиною
арку уже занавесило
пеленою дождя, а мы окунулись
в нирвану фуникулеров,
поручней, цепких рук
и костяных бус вокруг смуглых запястий.
И поезд, утопая в берегах
моей любви и обгоняя тучи,
на круглых лакированных ногах
вперед стремился, гордый и певучий.

Но я еще помнил ее узкогорлые плечи,
черной трапецией подчеркивающие равнобедренность
мира,
примиряющие живое с растительным царством,
плывущие в равноставленном времени.

— Странно, — сказала она, что боярышник
так разросся.
Май на дворе, месяц псалмов,
а тут..
Зеленые ягоды, мелкие,
но полные сока.
(Играли в футбол,
мяч летал над заборами.)

Набухали груди под платьями,
икры, круглые животы,
и надо всем этим шар
солнца — неведомый, виртуальный,
исполненный магической влаги —
все было у них впереди,
все впереди у них было:
реки во льду, поля в снегу, мосты над водой.
И даже если кому-то из них предстояло
окончить жизнь пятном на асфальте,
у них впереди еще было парение
в восходящих потоках, нисходящих потоках...

Как много нас.
Запах возвращает нам тех, кого мы любили.
Пока он держится, с нами те, кого с нами нет.
За ночь за окнами распускался сад, в нем гнездились
птицы.

Подойдешь, отдернешь штору —
там никого.

Мы все солдаты любви. Наш след ведет к океану —
вместилищу судеб, хранителю напластований.
И спящие вместе похожи на рыбу на блюде,
грезящую о нересте в том океане.
И его окончность, прощальным кодом,
памятью на мозг, в извилистых скалах
туман охватывает, наслаиваясь на воду
и на пески, торжественно и устало.
Берегом памяти я назову эту землю.
Берегом жадности и алчбы, ибо память страждет
здесь без ласк твоих более всех членов моих, ибо руки
дремлют,
губы спят и глаза,
а память — жаждет.

.....

Правду сказать, боярышник был не ко времени.
Как не ко времени все:
жизнь, — да и смерть
не ко времени. А его-то как раз не хватало,
чтобы спросить: «Как живешь,
мое счастье? Как ты там живешь, Чижа-Пыжа?»

Вита — женщина с большим размахом.
Она строит дом на улице Алберта.
Тонка, изысканна, тайно порочна,
но никем не желаема, как цветок
на слишком тонкой ножке со слишком большой головою.
Она говорит, и складки рта ее
напоминают луну по пути с запада на восток,
купающуюся в лучах закатного солнца.
Местечки отрезаны от мест, места от столицы —
она освещает разбредшиеся дороги,
где я заплутал во времени и пространстве,
с запада на восток, между жизнью и смертью.

Спи, Иванушко, зайчик мой,
красно солнышко, ясны дни.
Ночь пришла, как к себе домой:
баю-баюшки, спи-усни.

Сел волчок на пустых лесах,
вынул аленький поясок;
во березовых туесах
разливается свежий сок.

Море в тающих берегах
расправляется с храбрецом,
и русалка плывет в стогах
с удивленным твоим лицом.

Длинные, как версты, песни,
длинные ноги, дожди, длинные
как пролеты лестниц, автомобили, их следы
на волглом асфальте — дети Глории.
С неизбывной тревогой вглядываюсь в любимцев

светлого часа:

выстрела в упор хватит,
чтобы голос смолк, подкосились ноги,
только дождь нагонит не в этой земле,
так в той, не в жизни...

Клубком наматываются дороги,
им лютовать, а нам бедовать.
Над ними месяц встает двурогий
и ногтем скалывает печать.
Услышу, может быть, голос рога
и Роланд выйдет из-за угла.
Мне жить осталось совсем немного —
не дальше воронова крыла.

В этом городе крыши домов похожи на башни:
удивительные, свободные, восходящие к небу,
вне любви и тоски,
вне тоски, и любви, и печали,
вне вопросов и вне ответов, бессмысленных, праздных.
На башнях разгорается пламя, трепещет закат,
скоро сменится стража.
Запоет петух — иди предавать, ничего не бойся.

В доброй Европе праздник,
а мы, повара, — не званы.
Близко время цыган,
пора начинать кочевье.
Ветер бьет в паруса, слово произнесено,
да и что у нас есть, кроме вещего слова.
Смерть не ко времени...

О Арджнуна, дваждырожденный!
Я, дваждывлюбленный,
тянусь нескончаемым потоком
в страну первой любви из страны второй,
чтобы позже – обратно – из первой страны во вторую.
Одна страна велика, как снег,
другая мала, как дым.
Одной страной мне отпущен век,
в другой умру молодым.
Пепел первой страны осел во второй стране.
В какой бы стране я ни был, другую вижу во сне.

Бессмысленно спрашивать, бессмысленно отвечать.
Множество мелких милых вещей
отвлекают нас от вопроса,
но никогда – от ответа.
Или наоборот, смотря по тому,
кто истец, кто ответчик. Swallow, swallow,
these fragments I have shored against my ruins –
сказанное не по-русски
подобно озеру за деревьями:
блеск в глаз, остальное – лишь обещанье;
на водную гладь сели гуси.
Хотите ли есть, гуси, гуси?
Ласточка, ласточка! Ворон, ворон:
бери меня, я весь твой.

БРЕМЯ ОТВЕТОВ

Время перетекает в сентябрь, и мой полет
замедляется, входя в зону
инфракрасного излучения дач
и сирен поездов.

Я гоним по земле, как по небу облако.
Месяц мой вожатый, — и запах жилья.
Глухо лают псы из глубины приусадебных кущей.
Деревья, лесные стражи, встречают и провожают меня
плечо в плечо и ноздря в ноздю.
Сотни листьев, рвущихся на ветру,
тысячи сетей, паутинок и жизней
вокруг меня, и голос,
рвущийся на ветру, жалующийся
и рвущий.

...И вал
моря, пенящийся, снующий
туда-сюда челноком в руках Пенелопы,
плетущий сети из водорослей рыбам и рыбакам,
кораллам и крабам, — и тут же
яблоки, яблоневого шквал, ураган
болидов, янтарно-желтых, матовых и золотых,
и никогда ни одно яблоко
не скатится к морю,
не поплывет волшебным руном среди кораблей,
не станет медузой среди медуз, дельфином
среди дельфинов —

СТИХИЯ

разделенности властвует над землей,
и мощь разлуки
правит временем, насылая
за августом сентябрь, а не новый август,
а яблоко остается висеть в листве
обдуваемо ветром, облетаемо бабочками
и осыпаемо звездами,
покуда не соединится с землей,
ладонями, губами и снова с землей,
вереницей, в предсмертном молчанье,
величавом спокойствии скорби,
каждый вздох и пожатье плечами
возвещающем *urbi et orbi*.

Луна, управляя приливами, отвлекает
на себя воду и обнажает взморье.
Все тебе дано:
ловить непойманный ветер,
убегать в безумном городе от погони.
Женщины все твои.

Но намыливая щеку душистой пеной
и просовывая галстук под ворот крахмальной рубашки,
положив на колени ногу в блестящей туфле
все равно рука нащупывает конечность —
переходную, ограниченную, но — конечность,
беспредельную в своем смертельном суженье.
Небо опускается низко-низко,
звезды осыпаются тихо-тихо,
и конечность владычествует, как Македонец.

И густым и сытным мазком ложится
изукрашенная перламутрами блеснок
кисея рождественского тумана
посреди свиных воскурений,
в мареве смолистого фимиама.

Счастье, счастье, счастье.

И касания в вагоне — не пошлое пожатье коленей,
но дружеское соприкосновенье плечами.

И косое солнце, бьющее наугад.

И пыль мироздания, танцующая в последнем луче —
анизотропной вселенной, единственной магистрали,
несущей нам свет.

Шалаши из поверженных елей — шатры для любви
великанов.

Вереск — чуткие уши, принимающие сигналы извне.
«Virši — имя вереска», — говорила ты, и небо смыкалось,
объятия смыкались, купол смыкался.

Счастье, счастье, счастье.

«Знать» на небесах означает «видеть», —
учит грек, — а на земле — «вспоминать».

Чего не вспомнишь, стоя на берегу песчаного моря,
совлекши сорок одежд, освободившись от кармы,
от друзей и врагов — бросая одно за другим:
стены крепости,

невод и облако, плывущее в камышах?

Конский храп и узкую руку менялы,
пальцы, обтянутые перчаткой, поданные на прощанье
до новых времен, до конца света, до навсегда...

Снова осень, и слушать, что говорит сентябрьский ветер,
легко и просто, а он говорит тебе: «В путь!»

Так всегда бывало в благословенные дни,
исполненные поездов и лесного молчанья,
алых яблок и баклажанов лиловых,
розовой моркови; он говорит тебе: «Будь
как все – те, любящие и любимые ими,
позволь им разделить с тобой благодать:
припав, вкушать, прильнув, насыщаться,
утолить голод и жажду.
Стань курганом, дающим мудрость и силу».

Девочка выходит на холм и, ежась на холодном ветру,
говорит:
«Здесь лежали две лодки.
Где они теперь?»
Где их хозяин-рыбак,
приземистый крепыш из странных столетий,
или рыбачка – вдова,
красавица, тонкая, как камышинка,
с которой мы пировали в той жизни, верней, в позатой,
ибо в прошлой я был, возможно, слоном –
отсюда и горб, и бремя?

Сухой песок и лодки днищами кверху,
или сырой песок и бороды водорослей.
Так идешь, причастный вселенской гармонии,
продолжающий и продолжаемый, часть круговорота,
поднимаясь и опускаясь как дух, как море.
Так идешь, а ребенок тебе навстречу,
или ты навстречу ему,
или вы друг за другом.
Или ты сближаешься с зеркалом, уменьшающим
расстоянья
между ним и тобой,
зачатьем, рождением и старостью.

Так идешь, а море, как опытный фехтовальщик,
касается ног твоих, то вновь отступает.
Столько ласки в толчке его слизистой шпаги,
любви, и нежности, и всепрощенья,
что, сближаясь и уменьшаясь, увеличиваясь и удаляясь,
можно идти и изменяться вечно.
Только море держит в своих объятьях
берег, простирающийся над полной звезд бездной,
убаюкает, укачает, выплюнет, приласкает —

перо лежит на песке, бери и пиши, а я поплыву.

.....

«Всякая мысль стара», — говорит Кришнамурти.
Мы беседуем на диване, а голос Будды
ищет нас, отскакивая, словно мячик,
от зеркал и блюдец, ускользя
сквозь прогалины в листе.

Свежо, как солнечный зайчик,
все, что нас окружает:
горсть драхм на столе,
спущенные чулки и бокал вина.

Где-то внизу пульсировал ключ.

Море, набиваясь к берегу в родню, приносит
отражения неба и глаз купальщиц,
комочки слизи.

«Мысль всегда стара», — говорит посетитель, —
и она приходит, затем уходит.
и менадами мотыльки кружатся.

Тем не менее, попробуем строить предположения.
К примеру, Кулдига. При Кетлерах в ней делали водку,
разливали, бутылки в трюмы – и путь далек!
А сегодня река едва несет мою лодку
и на теплых рельсах спит себе мотылек.
Эй, Курземе, ни дна тебе, ни покрышки!
На пустой и песчаный берег о заре волна
как прихлынет, вспугнутая отрыжкой
короля ужей со смоляного дна.
Не так ли, милая, мы шли с тобою по бережку,
играли в салочки или в «не-тронь-меня!»
Тропка влажная несла меня молча-бережно,
следов не путая – только что не храня.

Скажем, путешествие по мокрой дороге.
Дурацкая роль в темноте –
сев с водителем рядом,
говорить, куда ехать.
Естественно, все заблудились.
Происходит ментальный расстрел,
локальная Хиросима,
Хатынь-да-Катынь.

Никому ты не нужен.

И запутаннейшие отношения, слагавшиеся из
невостребованных поцелуев
и неопознанных слез в уголочках глаз,
напоминавшие не то чтобы очень злою,
но и не добрую – в последний раз
такую нервную, мягкую, слегка Шакья-Муни,
с пальцами длинными, как путь из тьмы
безлунной ночи к прелести полнолуния –
так и не изжитую с той зимы.

Город обдуваем густым и трепетным ветром.
Я люблю тебя, но вот что, любимая, странно:
плавный сгиб чужого колена вызывает спазм в горле;
что я вижу, когда так смотрю,
и как смотрю, когда вижу,
как нога покидает ботинок,
схождение бедер к пункту деления
и наглуую розу, шипом
пронзившую ворс аксамита?

Небо с желтым облаком посередине —
таким, как рисовал его в детстве.
Белый флаг в хмуром небе —
таким, как описал его Фрост.
Остовы сгоревших домов и груды гниющих яблок.
Разбомбленная земля — такой она видится сверху.
Как же я проморгал эту жизнь,
с причалами и кораблями,
реяньем мачт на ветру,
игрой воды в королевских фонтанах?

Движения уличных женщин, уродливых, как попугаи.
Крики стражи, сигналы авто...
О-хо-хо, как сладко, ввергшись в пучину отчаянья,
плакать над незадавшейся жизнью —
над земною, на небесную не надеясь и вовсе.
Стоя под огромной липой пред кафедральным собором,
обрывая мягкие листья, слушать, что надо быть волком,
не смотреться в зеркало, возвращаясь,
а дождь наступает от моря, смывая следы.
Капли змейками дрожали над перекрестком.
Мы любили друг друга на лестницах,
в тамбурах спальных вагонов.

С глазами, полными слез, я молил о пощаде.
— Приди, — говорил, — взмахни плащом, пусть сыплются
искры,
подкова и скрипка, вот части мира, ну что тебе стоит:
я — твой фигляр, мой маленький сюзерен,
я — твой вассал, моя акробатка,
бубновый валет: прими от меня
клочок сена, вышитую перчатку,
сады без конца и без края —
мой осенний оммаж.

Осень уцепилась за меня кривыми когтями,
и та, что насылает от маленькой печки ветра,
преграждает дождями путь,
свернувшись клубком.
Котенок бьет лапкой, клубочек падает,
разматывается нить — киска!

Как быстро все возвращается, киска
мой зеленоглазый, с пушистым хвостом, —
твои поцелуи покачиваются буйями
на всех широтах, волнах,
омывающих скудную землю, —
крепкий кофе, хмельное пиво
и радиомаяки горят
сплошной полосой.
Жизнь идет; ей не идти невозможно.
Жгут костры,
огонь пылает в теплицах.
Жить. Жить. Жить.

В только вечером, среди витрин городов,
вспышек глазных белков и петард коленей,
под небом северным, южным, западным или чужим
понимаешь:

я имел тебя, пока тобой не обладал,
ты была моей, лишь таковой не являясь,
стоит протянуть руку — и ты растворишься,
произнести слово — растаешь,
под платьем каждой женщины я вижу кожу твою,
под кожей их вижу ребра твои,
под ребрами — сердце,

и если не дал — не дал.

КАТОЛИЧЕСКАЯ ПОЭМА

*Свечение красных крыш на грани яви и бреда.
Полагаю, и перед смертью увижу это во сне.
Со дна подземных ключей всплывет бессмертное «Credo»
и плоть умерших на миг восставит во мне.*

*)

Льет, льет дождь.
Я гляжу на свое отражение в стекле,
чтоб не делаться старше.
Миры плывут надо мной, но не уплывают,
а кружатся, проткнутые веретеном.
Сто лет назад мать спала бы над прялкой —
сегодня не спит, глядит в другое окно, на дорогу.
По ней идут люди, кто в лес, кто на кладбище,
кто с кладбища, кто из леса.
Те собрались на базар, те отправились в город.
Сыро и неуютно им, но люди идут, ибо людям
надо идти.
Там, вдали, за рекой, в омытой листве,
над шумом колес и смехом детишек,
среди чаек и ласточек высятся
одинокие гордые купола и
манят призывно.

Льет, льет дождь.
Когда он кончится, петух запоет у соседей.
Амбарные мыши начнут свою жизнь во дворах.

Поднимется ветер.

*)

Совсем ничего не боюсь.
Верю — хромая пожалует
вовсе не с той стороны.
Вечно сижу на камнях,
созерцая кучи отбросов
и крыс, пожирающих дохлых чаек,
как прикованный, ожидая
не то прилива, не то
вечерней газеты или мороженщика.

Прошлые жизни всплывают со дна
и вызывают то слезы, а то отрывку.
Давно не текла между ног
тепловатая жидкость,
заставлявшая нас
строить мосты и воспарять по ним
к Господу.
С каждым рассветом все тяжелее
собрать рассыпавшиеся миры.
Встаю, испражняюсь и долго смотрю на
форму пятна, расплзшегося по песку —
кого оно напоминает:
рыбака, запекающего на костре
большую рыбу, или странника,
плывущего в лодке навстречу течению?
Видно, и мне уже пора отплывать.
Жизнь теплится во мне поминальной свечей.
Мои боги, мои жены и мои дети
видят, как я ем, пью, рыгаю, люблю,
становясь все ближе к земле,
откуда, собственно, вышел.

*)

Над равниною небо расколото,
в тиглях ангелов плавится медь.
Разливается чистое золото —
нам такое и видеть не сметь.
И над черными страшными башнями,
выше крыши, но ниже дождя,
громыкает гвоздями вчерашними
колесница хромого вождя.
Сны нисходят на павших без времени,
обоженные рыхлые сны,
но мы держимся твердого стремени
и пока еще не прощены.

*)

Тяжелые медные губы и полные золота волосы —
такие знаки умеет посылать мой Господь.
Особенно мне, известному
своей невоздержанностью на язык и
прочие вещи.

(А курды нашли себе новую родину
в Курляндии, и у них
в вагонах есть шведская мебель.
Я тоже курляндец, и у меня
есть курляндский диван, на котором
я, вытягивая, а не преклоняя колени,
могу разговаривать с Богом.

Хотя вообще я не беден.)

Тяжелые медные губы,
застывшие в странной усмешке.
Увижу ли вас еще? —
(по сонной Москве
хорошо возвращаться
к этим губам, пить вино,
заламывать белые руки, стремясь
в водопаде волос
провести свою лодку) —
Не знаю.

Молочная прохлада ладоней,
далекая, задолго до первых соитий
блеснувшая в полумгле утра,
тонет в его тишине.

Сизые клубы дыма
похожи на мою тоску по тебе:
плывут над крышами,
цепляясь за провода и оседая на трубах —
веселые пасмурным и мрачные
ясным днем.
Погожим деньком
я улыбался тебе из окошка мансарды,
ласточка-голубка, стриж-стрижевич, король-
королевич, и сладкое молоко
из твоих клювиков
текло по маленькой площади;
печаль каштаном проросла из моей головы,
и свечи его, сдобренные тем молоком,
горели.

*)

Словно птица с церковного шпиля упала в веру,
что в безумном полете ей не дано разбиться,
так и я Тобой был вызван на этот берег
и, безумный, шел, а нынче лечу как птица.

*)

Вот и у меня в волосах завелась золотая прядь.
Золотая прядь у меня в волосах, а ведь я еще молода.
Я повстречала тебя на съезде с моей дороги —
ты спал у обочины.
Помнишь, ты окликнул меня, разбуженный
каблучками,
и я пошла за тобой.
Лезет в глаза мне пыль твоей колеи,
трава обвивает ноги,
судьба моя течет сквозь тебя
каплей крови
по смуглой щеке,
а я все иду.

Как давно я не была с тобой, господи!
Как давно я не была с Тобой, Господи!
А ведь раньше молились в одних и тех же садах.
Приди, соединишь со мной — живот с животом,
соски с сосками, ладони на ягодицы.
Только не называй имен и не пой мне песен
того цыганского города,
что некогда приютил твою душу.
Правда твоя — она же ведь дуб Кощев:
стоит возле моря, только неизвестно,
возле какого моря.
Того ли, в котором ты иногда удишь рыбу,
или того, в которое я когда-нибудь брошусь.

*)

Сорок дней моя душа блуждала по небесам, на рассвете сорок первого вышла к морю. Ей открылись плененные паруса, журавлиный клин и встречный ветер, а вскоре наш косяк уже вырулил к той стране, к румбу, чье острие протыкает ворот, где лежит короной на плоском песчаном дне удивительный, безумно прекрасный город. Я летел над ним в том слое, что от земли отделяют дома и горы людских усилий, и в которой прорваться единственные смогли одинокие позлащенные шпильки. Я прощался с ними и видел — внизу, в окне, глядя на бессонные красные крыши, встал один из тех, кто был очень дорог мне, — но не мог спуститься, а поднимался

выше.

ЗОЛОТО РЕЙНА

Вдаль по большой дороге
золотом устлан путь.
Камень единороги
смалывают в крупу.

Бредят ночные сфинксы
жемчугом и вином.
Выцвели в бедрах джинсы
странницы за окном.

Золото мое, если б
это не мне, как воск,
старость терзала чресла,
печень, глаза и мозг —

я бы принес на ужин
яства заморских стран,
стал бы высоким мужем
в блеске христовых ран.

*Снова август коричневый, сладкий.
Тонут страхи, как бес в преисподней.
Золотятся мальвинины прядки.
Я дышу и летаю свободней.*

В краю настороженных птиц
и боя подземных часов,
тяжелых янтарных яиц
в глазах растревоженных сов

я вырежу памятник снам
над толщей раскрашенных вод,
и рейнское золото нам,
быть может, быть может, блеснет.

*Золотист непомерный груз,
Жизнь моя, я тебя боюсь.
Наименьшее твое зло —
Этих пасмурных дней тепло.*

Вот что еще порой удивляет: тепло.
Долг исполнен, можно глядеть назад
в прошлое, как в будущее, назло
памяти сивиллы. Глаза в глаза...

В этих городах сквозь густой туман
я бреду всю ночь по семи мостам.
Утром медленно сойду с ума,
ты войдешь и скажешь: «Дошло до меня, о султан!»

Невозвратное небо, синие корабли.
Воля сфинксов, кровь короля, копье.
Мы почти у берега той земли.
Золото мое, золото мое, золото мое.

*Кто-то, золото мне даря,
Говорил, что в руках царя
Ладан, смирна и сердце зря
Прогорают до января.*

Розовый локон упал на грудь,
тлеющую посреди камней.
Поразошлась в подворотнях грусть,
посеклась паутина дней.

Дай мне что-нибудь навсегда:
пачку писем, слезу, огня;
золота какого-нибудь. Да,
дай мне золото для меня!

Слишком уж зыбок гранитный руст,
и нить, как водится, чуть тонка,
и, очевидно, кулак мой пуст —
в нем не бьется твоя рука.

*Те, что были, ушли, те, что будут, не явятся скоро.
Промежуточный финиш, несмысленная раса..
Увядающий август — твоя опора,
Неумное золото третьего часа.*

Над белым берегом собор
в оранжевых лесах
трубит неторопливый сбор
в осенних небесах.

А посреди неровных стен,
где вместе не пройти,
ты медленно проносишь трен
по Млечному пути.

Я жадно пью твои лучи
с поверхности реки.
Там молча целятся мечи
в звезду из под руки.

Прижавшись к зеркалу любя,
как полая вода,
целую самого себя
без ложного стыда

и медленно иду ко дну
и вижу в вышине
тебя одну, тебя одну
и золото на дне.

ДЖОКЕР

Ordne dein Haar, Hydra
Uwe Kolbe

Первый круг

Ядами напоен путь.

Горечь порубежных судеб,
звериные крики,
страшное небо
перед взором, на слуху и в мозгах.

Берега реки заросли остролистом,
красные ручейки на черных лицах
переплелись с серыми ручейками,
оспа изрыла поля,
леса посекала трахома,
узлы деревьев набухли и расплылись,
вскрывшиеся овраги полны
прошлогодней лимфы и застарелой вражды.

Мои руки безвольно повисли,
ибо я неловок и необоротист.
Чист сердцем, мыслью грешен на каждом шагу.
Глаза мои блудливы,
брюхо огромно,
пах отвис.

Среди грязи кишок,
опорожняемых прямо на землю,
всесильное золото
неудержимо влечет меня вниз.

Не один год блуждал я в потемках,
подгрызая жирные травы,
избегая крысиных нор.

Но золото зовет глубже.

Золото, выпавшее на мостовую,
каблчками по ней стучащее,
в помойных ямах
золото, золото, золото.

Манит к центру земли,
расплавленным ядрам магмы.

Всего делов-то —
под летним дождем
припарковать свой джип
у подножья пышного дерева,
встретить кого-нибудь,
сойти с ним в тот кабачок,
подобно старым друзьям;
но старых друзей больше нет,
равно как и джипа;
мышиним горошком зятянут след.

Запах попкорна под небом декабрьским,
снег обещающим.
Иногда и я правильно поступаю.
Иногда, свежевыбрит, коротко стрижен,
в чистых джинсах и свитере,

я ловлю на себе внимательный женский взгляд
и отвечаю ему,
ибо он направлен на то,
что во мне, тем не менее, есть.
Да, а вокруг творятся казни и унижения.
Ничего во мне нет,
могущего противостоять
ближнему и должнему злу.

Выхлоп газа на парадном стекле.
Чудится, будто ты,
в некогда гордой шубке,
странно нежна,
выходишь ко мне

(Знакомый ландшафт наготы.
Сосцы над уровнем моря.
Всегда естественный, в следах
эрозии и отложениях магмы.
Вершины старых и новых холмов.
Границы размыты...

(Опала роскошная ночь. Смолк звенящий персидский
шепот.
Вуду, тату и табу – приметы нового времени.
Дух моря, вызванный ньонга, заполз в наше тихое озеро.)

Синие воды ночных городов,
солнце, желтое, как перчатки Салиты,
волосы Сандрильоны на альпийских лугах,
крылья феи, скользящие по монитору компьютера) –

я же во всем подобен ифриту,
заточенному на дне морском Сулейманом, сыном Дауда,
обещавшему первую тысячу лет
небесное царство за освобождение,

во вторую тысячу приберегшему царство земное
и уготовавшему лютую смерть
избавителю третьего тысячелетия,
ибо сам вошел во вкус сладости отчаяния
и жажду поиметь конец от твоей руки.

Как я люблю твои руки,
сука, блядь, идиотка!
Немерено длинные пальцы твои
со шрамиками, оставшимися с того дня,
как ты поскользнулась на своих каблуках,
намеренно оставив меня — ты помнишь?
Я обожаю их на своем лице.
Последний раз, отдаваясь мне, ты пахла кислой капустой,
но ты ударила меня по лицу, и я сразу кончил.
Теперь, когда мне надобно кончить,
я вспоминаю тебя и кончаю
как бы в твои объятия, любимая!

Лежу опавшим листом на твоем пути.
Лежу, ожидая — переверни меня.

Кончиком туфли,
носком ботинка,
острием зонта —
я вопьюсь в металлический прут,
слизывая ржавчину и паутину.

Вот моя рубашка —
грязная, пропахшая потом.
Переверни меня и ты увидишь —
я джокер.
Переверни —
и ты услышишь песни с той стороны.

Песни с той стороны

*)

Пусть исполнен свободы
Будет каждый твой шаг.
Отошли наши воды.
Отшумели в ушах
Наши первые гимны...
Мы остались одни.
Ты себя сохрани мне
И меня сохрани.

*)

Не торопись, а слова придут, как надежда на лучший
жребий.
И явлено станет то, что было сокрытым.
Из рукава у подруги выскочит гребень
и поведет тебя по другим орбитам.
И ты отправишься, пахарь, в страну любовного пота,
Сладких и горьких жатв, полуночного бреда,
Неутомимых звезд на осенних высотах,
Ветра, разрывающего небесные среды.

*)

Узкие улочки пахнут клубникой.
Узкие лодочки потом и лаком.
Нежные чайки заходятся криком
Над пустырем, что по-прежнему лаком.
Дремлют сирени. За окнами Лиго
Быть обещает то битую, то пьяную.
И оступает шалая Рига
В мед забытья, как лягушка в сметану.

*)

Здесь высокой птицы полет продлен,
Здесь высокий звон монастырских стен.
Вот тут расстелен пахоты синий лен,
Вон там вкраплен болот синеватый тлен.
И шумел камыш в городской реке.
Отражалась маковки в ней елда.
И высокий сильный Бог налегке
Выводил нас мимо и навсегда.

Прикуп

Три карты в каждом прикупе лежат.
Три женщины над нами ворожат.
Три улицы нас под руки ведут
и три судьбы на перекрестке ждут.
Когда со мною говорит звезда,
когда владетель шлет меня сюда,
то я спешу по лезвию игры
к чужим ногам сложить его дары.
К отцам и детям, сопряженным мной,
к реальности бессрочной и больной,
из темных циклов, обращенных в сны,
или с обратной стороны луны.
Мое искусство, вечный мой позор.
Крапленых карт бессовестный узор.
Твои лучи обожествляют мрак —
и я твой шут, твой джокер, твой дурак.

Вижу лицо твое
над белым столом
под белым шатром
вдоль Двины
по-за Герцикой,
княжеством безумного Владислава,
ранящее, как бег тока по проводам,
дразнящее, как ежегодные миграции журавлей,
саднящее, как запах спермы, переливающейся в сосуд
из сосуда.

И я продолжаю жить
на фоне колеблющегося моря,
предавая тебя, как я лишь могу предавать,
предаваем тобой, как только ты можешь.

Мрачен лес. Стоит под пасмурным небом.
Реки текут и наполняют слова огнем и мечем.

Мой дар не язык, но мера ненависти и любви.

Взойдет солнце, и ветер разгонит тучи.
Сосны, истекающие смолой — их власть.
Дороги, подобные языкам дракона — их сила.

Все проходило не раз и опять пройдет.

Цветок папоротника отцвел, пена осела в кружках.

Положи мне на лоб три кубика льда,
смешай колу с баккарди,
пойди и позвякай чем-нибудь в ванной,
выпей лак для ногтей
и успокойся.

Соса-сола, говорила моя соседка.
Цоца-цола, говорит моя дочь.

Не язык мой дар.

Люблю бродить вдоль твоих очагов
губами, полными липкого сока,
медля войти в тебя,
медля принять их огонь.

Волшебная сеть
несет нас в своих ячейках
сквозь маслянистую воду
под днищами дрейфующих барж,
тащит волоком по каменным мостовым
под колеса джипов,
под стоны резины
и визг тормозов...

...опиши мне радугу,
плывущую вслед дождю,
люд на площади
в ожидании вечернего чая и пива...

...расскажи о покупке
вафельных стаканчиков в универмаге,
некрасивых мужчинах и некрасивых женщинах,
их немудреном счастье...

Твои бедра источают прохладу, жемчужную слизь.
Сила сжатых ног приводит в движенье ветер.
Нехотя, исподволь восходит солнце,
чтобы после дубить, жарить, жечь.

Влажные биения сердца.
Сухой отчетливый ритм маятника.
Пульс морской волны в висках.
Безумный пляс качелей над пропастью
(черная щель в скале —
на дне река обтекает камни).
Плотная зеленая пелена глубины
(когда выныриваешь, сонм солнечных бликов).

Возьми меня, мое солнце,
здесь, среди воздуха и песка,
распни на своих лучах,
сбей в пену, разотри меж ладоней,
сделай своим заусенцем, ногтем, ресницей,
размечи по просторам своим:
волком в овечье стадо, овцой в волчью стаю;
прахом к праху, потоком к потоку, огнем к огню...

Дворники сметают листву с тротуара.

На редкость быстро высыхает роса.

Век моего отца прошел, век моих детей наступает.
Что за шаткий мосток перебросил Создатель
с одного берега реки на другой!
Тропка, ведущая через него,
тонет в камыше и осоке.
Волки и овцы, обнявшись, ждут на лугу.

Скрип качелей под небом сентябрьским.
Взмах руки: симфония детства.
Нежность полутемных окон сдирает до костей мое сердце.
Люди на Земле, большие на большой,
маленькие — на малой.

Мои дети,
счастье шута.
Вами выткана паутина,
бахромчатый замок:
я иду по ней, смешно задирая ноги,
а бубенчики бзынкают в морозной мгле...
Дети шута –
мое непосильное счастье.

Ты распинаешь меня на дыблящейся земле,
прошивая лоскутное домино
алмазными клиньями,
заветами ненависти и любви.
Маленькие острые шильца,
огнистые язычки,
беспокоящие прелую траву,
достигшие самых глубин,
магических руд и магнитных полей.

Что ж, возвратимся к истокам,
увидим черные лики вод,
опустимся на мглистое ложе.

И лишь на дне ручейков
есть руки любимых
и сладкий слезный плач до утра.
Спаси и сохрани нас, Господи.
Спаси и сохрани нас, Господи.
Спаси нас самих,
спаси наших отцов,
спаси наших детей.
Дай нам силу найти в нашей слабости
твердый дом и опору.
Позволь сесть за стол и сказать:

«Я кладу свой сыр на свой хлеб
и пью свое молоко».
Дай еще время.
Не отнимай все сразу.
Дай мне час, и я верну Тебе день –
День славы, День гнева и прочей херни
и всего остального.

Шелест тропок под небом сентябрьским.
Прятки с лесом, что шуруется на неяркое солнце.
Звенья цепи, развешенной в березовом молодняке,
игры с ключами,
цыплячья шейка моего сына,
игры с дверьми,
буква «!» моей дочери,
листья зацелованы ветром,
и так вот каждую осень:
хочет братец кого-то взять в жены,
не ведая, что девушка давно отдана другому,
да у него вообще-то без того ни кола, ни двора,
только лишь ясеневая лодка,
и он, значит, плавает на ней туда-сюда,
а мать, гадая, льет серебро на ветер.

И жизнь,
факт умолчания,
фигура завета,
равновесие меж внешним и внутренним,
прахом, прижатым к сердцу,
и сердцем, отданным праху,
гармония былого и будущего,
сущего и несуществующего,
вечный пас от нас Ему и обратно –
опять хороша.

КОВЕР

1

Кирпич башен твоих уводит в небо над городом
цвета росы и растертого в ней янтаря.

2

...Слизывая со смуглой груди
молоко роженицы
в абсолютном мраке,
в заполошном покое комнаты
и сам, словно грудь,
перетянут бинтами крест-накрест
не вырваться не вырваться
из собственного сцепления,
лишь изредка беглая тень на стекле —
тогда дрочишь.

3

Мы летим по небу Второго пришествия.
Ты — с нами разом...
Дрожат бомбовозы.
Изумрудным ковром лежит под ними земля.
Бык и мул волокут одну ношу,
и Вента несет алмазные воды сквозь бензиновый шлейф.

4

Дети приходят во сне и словом «папа»
заставляют дрожать. Пароль —
отзыв, отзыв —
пароль. Они достаточно
выросли, чтобы спросить:
— Как ты?
— Не очень.
— *Я тозе не осень.*

5

Стигийские галеры соблюдают намеченный курс.
Болят неоплаченные долги.

Полоска неба щемит —
над Берлином, под парижскими крышами —
и детские туфли, составленные вместе возле твоей
кровати —
тоже щемят.
Исполать вам, верблюжьи мои караваны!
Ни силы, ни славы
не прихватишь с собою к серым равнинам.

6

Смерть, раз в семь лет проходя патрулем над городом,
сбрасывает тебе свой желтый квиток.

7

И ранняя импотенция,
как следствие отсутствия денег,
неизбежно наступит.
А ведь столько разных путей есть,
солнечных открытий,
звездных тяжб и выигранных дел сколько!
Через Зилупе можно ехать,
через Вентспилс плыть,
через Барановичи трястись в теплушках.

8

Вернуться практически в невозвратность
в дом посреди осени
на залитые лунным светом улицы Плавты,
вернуться а твоё дыхание поделено меж другими;
вот как всеильный Минос страшится взглянуть
в глаза Ариадне
собственной дочери я боюсь посмотреть в глаза.

9

О, mein Kind, кто научил тебя такому покою?
Ласточка моя еврейская, а *фиртл ов!* —
может быть, вдали, за голубой рекою:
там, где небеса пересекает ров

крепостной, а как же ласковая фея
щурится в предновогодний мрак.
Аber так и я, майн кинд, слабея,
все-таки хотел пожить бы. Так.

10

А — квадратные основания пирамид — бэ — заговори на языке незнакомом — цэ — продавщица счастья — дэ — с черной бархоткою на хвосте — э — нимфа мегера — эф — и так далее — гэ — говори говори — ха — нет слов — и — будто вчера все было — йот — алые лики любви — ка — в прибрежном воздухе — эль — выстрелы скорбно в ночи — эм — с треском морозную кисею — эн — не в том дело — о — где бы что бы кого бы — пэ — так никогда не узнаешь — ку — отчего это мимо — эр — проходящая — эс — проходящий — тэ — разнотравьем — у — гонись же за ней — фау — преследуй пока еще отрок — вэ — паром пламенем адского камелька — икс — в свете усопших — ипсилон — среди вех призрачного сияния — цэт — как бы при огнях полупогашенных.

11

И ненависти как не бывало,
и путь не долог, но просто извилист,
и сиесты комариная нега,
и не своих хороним мы мертвых — ох, не своих!

12

(Я ложусь рядом с ней, движимый
лучшими чувствами. Между нами
неловкость, так как я должен что-то
сделать, но не могу. Я хочу, ибо

память полна силуэтов, увиденных за день. Прямо по глазным яблокам тикают стрелки с точеным бедром, тонкой щиколоткой и любовно вылепленным подъемом. ... (Неразборчиво) стремится, но не к ней. Чтобы покончить с этим, я возбуждаю себя. Я провожу языком от начала икры (воображаемой) до коленной чашечки, затем по внутренней стороне бедра. Трамвай, последний шутник нашего города, больше не слышен. У меня на ладони ее пятка, розовая, как у младенца. Корнями волос в ноздрях я ощущаю увлажнение плоти. Губами пробую... (пропущено). Нога слегка согнута, мышца напряжена. Ее ладошки сжимают мне плечи, подтягивая меня вверх, и я лишь мельком успеваю слизать подливку с прохладного блюда, опертого на косточки ритуала жрецов и на ребра. Блокпост ее владений — две сигнальные башенки. Кладка слегка шершава. На самом деле... (изъято). Теперь взойти на холм, обойти по кругу вершину и снова спуститься. В каналах. Тоннель не простреливается... (убит). Боги, наблюдая сверху за этой вялой игрой, избегают смотреть друг другу в глаза.

Наутро мне снится, что Борис рассказывает нам про оккупацию.)

13

*Утренний вагон метро. Под землей струится
(Квалификационный заезд проституток,
синева в затопленные подвалы.
невеселое дерби по непросохшим бульварам.
В ближнем свете фар выгорают лица,
Если усталость не уложит в постель, захочется в петлю.)
мертвые желтеющие овалы.*

14

Ты уходишь, и я —
то ли нет, то ли — рад.

Автобусы из сопредельных стран,
чумазые, полные храпящего люда.
Кусок хлеба, вырытый на помойке.
Можно и умереть с благодарностью за то,
что видел пьяный рассвет,
дышал серебром поутряни,
пил горечь радости на исходе дня.

А шашлычок под навесом ресторана кавказской кухни
перевешивает все долги,
все клейкие почки верб невозвратного детства.
Амен.

15

Смесь одиночества, неприютности, небывалой
потерянности —

когда и деньги не помогают,

(а их и нету)

даже если б были —

надорванных оберток, непродленных мгновений:

разве что спеть голосом негритянки,

когда иглой или магнитной головкой прямо по мякоти,

языком меж грудей —

сплавиться, слиться с тобой *ты даешь мне*

лишь бы не слышать *sweetest taboo*

лишь бы не видеть

скорбного силуэта...

Вот-вот, не видеть, не слышать.

А ведь в принципе, вся жизнь для тебя

(была когда-то).

16

В поисках славы знаете ли

мишура дешевка но так больно.

Рост, серебряная норка, лаковые носы

ни от тебя ни к тебе

и все равно уже с кем

снегопад тот помню помнишь

та осень с листьями над черным воротником
та зима мне нравился дым над столом,
первые пять или десять рюмок:
лицо лукавое, маслины, сыр —
о чем они думают о черных невероятных ночах,
о деньгах, убийствах может быть
о войне...

17

Все это рок-н-ролл
(не забыть бы).

18

«Сивиллы, глаза мертвы — ты сама сказала мне, — только я не вижу той, одной из видящих, может быть, кроме нее кто-то знал, как дышат глаза, когда стреножены сном?

Рассказывай — опиши глаза, прикрытые веками, скажи, сколь ясны они у слепца, скользнувшие в воды жизни. Брось на небо луну, скажи: черной да будет она и влечет две барки.

Скажи: роскошна луна, скользнувшая в воды смерти. Скажи: она твоя, Сибилла, это вы с ней, я уверен, распахиваете глаза неугомонной ночью».

19

Тянет, тянет на вавилонские реки —
Ну, посидеть там, поплакать...

20

Наконец, мы отправились на поиски Святого Грааля.
Сто лет уж как не было подходящей погоды:
прохладная весна в прозрачных лесах,
беззвучный плач недвижимого воздуха
над голубизной... Ах как, ах как
нужна была чаша — залить
дурацкое похмелье,
сушняк осенней листвы,
всех этих красоток на кострах Торквемады;
вот мы и шли,
в доспехах от «Нике» и «Адидас»,
сквозь бурый смог арабских кварталов.

В лесу было сыро. Колеса вязли по ступицы.
Латана-перелатана память, а не забыть
кровавой этой прогулки. Не мухи, не комары:
чья-то власть — словно лайкой перчатки облепившая кожу,
рисую рельеф ногтей — гнала нас,
разъедая до мозга кости. Гнилые стволы падали
под натиском колесниц, и кровь бунтовала,
отвечая зову ручьев, запах же свалок
впивался в ноздри, хлестал по бокам,
пока за оврагами вставляли пересохшие русла.

21

Реяла Святая Земля.
Шли, а мимо нас в поездах
везли на восток настоящих вояк —
последних легионеров,
разнорабочих одной из бесчисленных войн:
проходцев траншей, шведов маскхалатов,
сварщиков пулеметом, простых
смертников, быстрых и страшных
клеймом пятипалой звезды на пилотке.
— И весь я из алого мрака ночей раздираемой войной
отчизны,
хуем в рот вставленной наискосок вместо сердца —
красненького вялого комочка (да, и старость).
Старость и боль.

22

Заполночь мы добрались до последней башни.
Звезда кочевий вела нас сквозь ключья тумана.
Стража смотрела на землю глазами бойниц.
С хоровода мотыльков начали мы эту осаду.
Взявшись за руки, кружились, падая вдоль лесного ручья.

Под утро запахло жареным из походных кухонь.
Война вступала в свои птичьи права.
Прислонившись к белой коре, мы затаили дыханье.
Блаженное тепло разлилось по нашим ветвям.
Мы стали деревьями.
Судьба играла за нас.

23

Август на переломе, и вот уже
вспоминаешь самое сладкое в
жизни, за что и гореть в аду.
Солнце с утра пораньше лучей
нацедит нещедро, за шляпами
подосиновиков иду.
Или еще, бывалоча, с де-
дом, спустив штаны, отливали
в калиновый куст.
...Опустошенные соски,
изжеванные мочки ушей,
откушенные пальцы —
жар сомкнутых ягодиц и
лед разомкнутых уст.
А Страшный суд близко,
из-под земли взрывы смеха.
Мясо почти отходит от
костей под пытками то-
го палача тем пламенем
на тех перекатах эха.
Где ты, дитя мое? Я тебя умо-
ляю шмыгнуть мышонком
в последнюю цитадель.
На крыльях твоих воздушных
я влечу за тобою, увижу краси-
вую реку — наш исток и купель.

24

Горевать об ушедших. Яблочное
повидло. Ласковые денечки. Розовые
столбы. Свет в запотевших окнах.
Жизнь бы давно обрыдла, если бы не
пенечки, если бы не гробы. Смерть
все делает краше. Голосу отвечая,
тонко трепещет нитка в черепе у
виска. В ожидании смерти
осень в стакане чая, памяти
не прикажешь. Ноша моя легка.

ЛЮБОВЬ ЭТОЙ ОСЕНИ

*)

До чего же ты хорош, июль! Твое священное дерево — липа;
лилии твои глаза, пока не астры.
Жребий нам с тобой *определенно* выпал
и тебя влекут по небу сестры.

Ты фаллически красив, ты безрассудно зелен.
Ты безудержен: как водопад в последних схватках.
И в прохладной тишине твоих молелен
зреет плод греха, мой сладкий.

Так в конце пути, ведомы злою
прихотью, сердца соединяют братья.
И дорога, выпрямившись во мне и встав стрелюю,
ищет сквозь меня твои объятья.

*)

Половецкая степь окутала мглою холм,
собираясь прилечь.
Вся она пропитана молоком
неназначенных встреч.

Может, войско Аттилы встало на берегу,
отражаясь в воде?
В никуда бегу, тебя берегу
в нигде.

С той стороны ночи, с той стороны дня;
не здесь.
«Есть, — говорю, — губы, что ждут меня? —
Говорят: есть».

*)

Кошка моя недраная,
мелкая моя сошка.
Видишь — сплошная рана.
На, полижи немножко.

Солнце крутое варево
на песок проливает:
эти леса ошпарила
третья мировая.

В них-то мой труп (наверное)
расколупают прытко
вместе со шведской скверною
ящерка да улитка.

*)

Реки земного рая затекали под арку.
Как бы смеясь и играя, боги ждали подарка.

Я отчего-то вспомнил прошлогоднее лето.
Как водится, мы прощались с одним хорошим поэтом.

Яблоки сыпались наземь в сомнении и тревоге —
теперь он в гостях у князя, он смерти целует ноги.

Алеют падшие сливы, из лесу выходит гоблин.
Пей последнее пиво, лезь к предпоследней вобле.

И слушай, как тормозами визжит мимолетный «бумер»;
кушай меня глазами: я фактически умер.

*)

Только пихты да ели.
Лишь пили да ели.
Ради нас корабелы
Садились на мели.

Под ногами лежала,
Под шпорой – дрожала.
Мы в раздатые ляжки
Вонзали кинжалы.

А протянешь построже,
Кишками на ложе –
Всюду бархат барханов:
Песчаная кожа.

Ни за грош ни за медный,
Не в пику, не в мену;
Кто ты – грозный, заросший –
Умытой, надменной?

*)

Позвоню тебе на мобильный,
удивлюсь собачьему лаю.
Как мне стать любимой и сильной –
я не знаю.

То я ласточка, то сорока,
то волчицей рычу на месяц.
Так и сдохну я одинокой,
из предместья.

А могла бы сидеть на троне,
кости сплевывая украдкой,
лишь бы губы твоих ладоней
пели сладко.

*)

Озеро, тень, гроза.
Бабочка, шмель, стрекоза.
Сосны, сон, волшебство,
Все немного того...
Ну, так и что, скажи,
кто, у какой межи,
сколько, кому, куда –
стоит ли, блин, труда?

ВИДИМЫЙ МИР

Intro

дни приходят ко мне как всегда чередую
 дикой кошкой четверг а медведь середою
 выплывает суббота дельфином из ванной
 и бессовестно роется в поисках манны
 и в нечистых трусах непристойно двуногий
 я дрожащий комочек клетчатки и жира
 трепещу в ожиданье гостей на пороге
 и смущен неизбежностью странного мира
 что как птица сейчас накренился в полете
 выполняя маневр от разгона к паренью
 и меня задевает своим опереньем
 однотонно-расплывчат и радужно-плотен

W

Трепет сердца.
 Наколота на летней коже
 Route 66.
 Ты врываешься в огромный мир, детка,
 сбросив мех и гнутые каблуки.
 Движения рук в помятом воздухе,
 диаграммы дыханий, легкий узор пустыни
 смешиваются, как бы наслаиваясь
 на ажурные конструкции вышек и кораблей.
 Magic baby, детка.

«Обретение» – назовем этот миг
 (пулемет горит в переносице:
 Бог танцует на дугах бровей
 (вы – мои дети, и Бог вас любит)),

потом вступают ударные —
ненадолго.

Потом вступают ударные —
так волшебнo, как выигрышные жетоны
в автомате — но ненадолго.

Итак, почтовый рожок, колотушка сторожа,
запечный сверчок, заплечная сумка разносчика писем —
пора!

Я бы вернулся к своим холмам,
но что-то мешает.

Я бы встал в строй братьев —
что-то держит.

Может быть, спины красоток,
может быть, ограждения летных полей,
может быть, запах земли перед ливнем.

Твой рыдающий голос, да.

И вот, на исходе четвертого десятка
не с кем ни переспать, ни выпить.

Не в чем даже пойти на блядки
и просто лень выйти.

Ночь напролет Господь разрушает башню
(днем еще ничего, а вечером страшно).

Каждое утро начинаю с ощущения старости,
pronзительной синевы за окном и мысли о смерти,
и сладость боли сильней, чем предвкушение страсти,
чем повестка в конверте.

Дом на краю земли. К небу взмывающие
голоса. Люди давно ушли. Куда? Видишь
сам. В мертвенной пустоте Да
встанет в конце путей Та что Всегда.

N

Он невнятен, наш север.
Эфирная маска над стойбищами городов,
их стойлами,
а в стойлах — всё те же стойки:
белый бот «Малибу», синяя ладья «Кюрасао»,
«Красная» и «Черная» метки — удачи тебе, Билли Бонс;
нерв Европы, ущемленный самосознанием, тупо ноет,
над стойлами городов — эфирная маска...

Твои губы, Герда, теплы, как дыхание пса.
Подол твоей шубки метет прибрежные страны.
И ты можешь сидеть на своих волосах —
странно...
(Странно, милая:)
кровь учителя на лапах совы;
плесневеет в портовых чанах.
Твои пряди, Герда, высветлены до синевы...
Странно.

Кровь из рук переходит в свет,
выбеливая змейки вен.
Пора вставать, поднимись, Мой Свет! —
за окнами Свей и Свен.
Глаза твои глубоки, остры;
в них дым течет вдоль дорог:
взгляни, внизу, в деревнях костры...
Амба, Господь, let's rock!

И этот баннер над входом в ад: оставь... и так далее.

Ну вот, полагаю, нас уже повели.
«Я умру не сегодня», — поет Мадонна.

Не гнобь меня, Сущий, и не мани
зеленым долом;
брось на седой траве:
свободный поиск окончен,
катера на приколе.
Вьюга сгоняет моряков в заброшенный бар
к прокисшему пиву, паленой водке.
Пирс. Мол. Замерзшее море.
Впереди чернота.
И, может быть,
завтра...

S

Маленькая белая Mazda на виноградном склоне.
Маленькая белая комната в правом крыле дворца.
Маленькая белая ручка, комкающая перчатку.
Маленькая белая жизнь.
Большая черная смерть.

Лежа на кровати в гостиничном номере Северной Славы,
он вспоминал города, в которых не довелось побывать,
и видел залитые солнцем дороги Италии,
стоянки над пересохшими ручейками,
и сны с апельсиновой косточкой на языке.
По его лбу, как облако по песчаному небу, шел караван.
Солнца, больше солнца в эти стены!
Сухого, колючего солнца.
Умереть, купаясь в его лучах.

И руки, множество рук,
оливковых, томных,
и бессмертная красота,
и простыни, смятые в кинолентах,
и кровь — много крови:

Ave Salvatore,
 скорбный и сладостный.

Не бздеть! Бог рядом.

Крылья над черной трапезой, изможденное русло
 (...когда жалко любви, дай справедливости!)
 Ни лошадей на проселках, ни
 перепончатой тени осенних лип.
 Чужость, я бы даже поправил — чужота,
 разбившая выдох и выдох, глоток и глоток.
 Лишь шварк металла о глиняную посуду.

Слышен смех и поднимается ставень.
 Птица расчерчивает крылом комнату и, вероятно, асфальт.
 Так открывается день, текущий адрес
 в обнаженном пространстве.
 Наш счет обнулен, завтрак съеден,
 приглажены волосы, одежда
 брошена на пол.
 Мы выходим, а ядовитый Юг
 метит своим пометом
 наши уши и руки.

О

Упрощенность и облегченность	исчерпан новый завет
условий существования	раскрыты девять завес
не позволяет надеяться на то,	среди легких и мягких лет
что в случае крайней нужды	пора жестоких чудес
наша отчаянная жертва вызовет	пора потворства судьбе
ответное благорасположение небес,	ночных свиданий с отцом
как-то: воскрешение плоти	пустых походов к тебе
и вечную жизнь.	время перед концом

Никогда больше —
с приступами ночных одиночеств,
с мыслями о тебе, возвращающимися
после первой же неудачи —
тогда что угодно с тобой,
даже сосиску с кетчупом:
лишь бы не расставаться...
Голос —
твой голос, мой голос,
только голос,
один только голос
(есть еще Ангел, но ангел спит).

Припоминаешь осенний вздрюк,
дым, коньки в январе.
Видишь, Бог в проходном дворе
мочится, не снимая брюк.
И когда Господь спросил меня, я ответил:
это пепел их сигарет,
это пар их дыханий за окнами,
это битва маленьких солдат, босс —
и она вечна.

Не мне истребить пейзаж, ковавшийся на века.
Пластиковая бутылка с остатками пива у насыпи,
руки страждущего вдоль рельсов,
комок червонца, щелчком переброшенный на запасные
пути;
девушки целуют собственные ресницы,
свет и тени пересекают ребра аквариума,
солнечное волшебное лето ждет.

Вот зачем нам дается Восток —
остановиться, прервав наши танцы,
и грезить, как снег погребает
песчаник и розовый туф,
пока верблюды,
след в оплывающий след,
идут, не замечая подмены.

ТАМ ГДЕ

*)

Зеленый полугоризонт
продолжает какие-то мысли.

Смазанное полароидом лицо
пока что не существует.

Проявится ли оно
в этой листве?

Несколько брызг,
упавшие на руку,
и слеза ветра,
скатившаяся по лобовому стеклу, —
вот все твои знаки, —

как это становится ясно
в моем неодиначестве
уже.

*)

Путешествие, задуманное как полет
небольшого шмеля над не слишком
большой дорогой. В поле крыш —
гречишные вензеля, по утрам
омлет, вечером вера в Бога.

С каждой из полосок дорожных метин,
с каждой из плетей тумана каплет
более чем осторожный воск
бессмертия на податливый
скелет меридиана.

Собственно говоря, это всегда
так тут. Время на якоре.
Поезда не идут.

*)

Аут.

Камбала размером с ладонь.

С колокольни, оплакивающей
павшие корабли, — прости, прости —
звучит колокол. Не в смысле:
прощай навсегда, но грехи
да будут отпущены.

Сыр размером с ладонь.

Я тоже размером с ладонь.
(Берешь меня к другим берегам?)

Палка плавника, треугольная пакля
водорослей на ней — серебряная орифламма,
выброшенная морем

как бы.

*)

Сучья склонились книзу.
Белизна манит.

Что особенного в этих руках и ногах?

Две темные точки
поверх всех пейзажей.

Глоток — и ты растворяешься
в воспоминаниях о горечи деревьев у тебя за окном.

На грани безумия...

...и я бы убил, если б смог. Но — кого?

*)

Наири!

*)

Ров. Стена.
Родимые пятна
брошенных сетей
в одном из кратеров
междуречья.
И белизна соборов
тайного города
невероятна,

когда по карте
сокровенных путей
вывожу караван навстречу.

Кто примет мой груз?
Паче чаяния,
даст кров и ручей?
Отчаяние сменяет отчаяние
в отсутствие звука шагов
и звона ключей.

Горьким запахом радует бриз.
Створки раковин падают вниз.

*)

Флюгер переставляет буквы
на розе ветров,
как полки
на карте военных действий.

Лобовая атака на горизонт.

Пик любви среди мертвой зыби.

В придорожном кафе заказываю «печаль дня».
Тема мелкой воды и песчаного дна.
Влажный ритм мелькания рыб в этой воде.
Мир состоит из там, где ты, и там, где...

*)

Сто лет-одиначеств. Стон в руку.
Сон в летнюю ночь, не друг в друга.
Глаза опускает тот, кто приходит первым.
Настоянная на улицах сперма. Лоза скупая.
Утро не за горами, оно за холмами.
Вода прилегла на камень,
не засыпая.

Глыбы местной Бастилии
готовятся в пасть.
Улыбаются лилии,
готовятся прясть.

*)

Почти по привычке всматриваюсь за море
и вижу иной силуэт, пока не облик:
в платье без рукавов, в легких летних перчатках,
алые ногти в песке —
босоножки, наверное, в руках —
и, прежде чем подстроить оптику,
я оглядываюсь
на этот берег, поникший
словно приспущенный флаг,
в попытке
найти в изломанной линии
ветряных мельниц и бензиновых танков...

*)

...что-то большое,
крепкое и безнадежное,
как вывороченные с корнем дубы,
которые я вспоминаю,
чтобы удержаться,
думая о тебе, —

как я вспоминаю
тебя, —
среди этих огней, —
чтобы удержаться.

*)

Таких вещичек здесь хватит на целый век.
Косая тень, предчувствие, вязкий бег,
коллоидная маска убиенной улитки.
Колодезная ласка. Час пытки и час
охоты. Сейчас-то я знаю, кто ты.

В запертую на четыре оборота дверь нетопырь и оборотень

не теперь. Верую, что разъясят дали, веером разведут
недели прежде, чем засеребрится первая наледь,
прежде, чем зашебуршится первая нелюдь.

*)

Страх и ревность идут со мной
солдатиками Урфина Джюса.
Километры морены —
плацдарм цветов маренго.

Мы в радиусе действия береговой охраны:
те, кого выбрало море, бдят.
Что за беда — я тобой зван ли, избран?
Будто отрыдал эти ночи и дни
на своем полу, будто память
полу-в-песке, полу-в-слизи.
Ровный прикус, желтоватые зубы.
Встрепанная со сна истрепанная
ветром сосна — родинка возле губ.

Выплыло наружу бывшее
между — в «никому не
нужен!» — слышишь
надежду.

*)

X X X

Руны над пустынной дорожкой,
упирающейся в жесты рук.
Вода земле нашёптывает
понарошку: *друг*.
У меня воздух
на линии огня.

И когдаходишь, скидывая штаны,
в слепящее нечто, лишь терпение
помогает снять с языка
лишнюю сладость.

Леденящая ясность на лоне сосуда,
наполненного жидким огнем, —
твой — считай, что хочешь — рок,
или упрек, или урок...

Волны тонут, словно отара, овца за овцой.

Вырезанные сердца прорастают, как маки на склонах.

*)

Иго зноя пало. Осада
снята. На дубовых шпалах
хвойная суета. Одинокий воин
наводит пицаль на сарацинское лето.

Одинокий наводит печаль, и где там?

СТРАННЫЕ ПАРЫ НА БЕРЕГУ OSTSEE

*)

Как пьется текила белая,
так с тобой говорит земля
необретенная.
И у всех твоих бед
один ответ, вернее, вопрос —
помнит ли меня тот журавль,
что видел меня на опушке?

Ай, кактусовая канджа!
Серебро луны над золотом песка.
Гонцы расстреляны,
узелковое письмо не дойдет.

*)

Тут туман так крут, что его извивы
застывают, превращаясь в отроги.
Как-то окончательно сиротливы,
мы пугаем его отродий.
И они бредут по ночным болотам
в поисках таких же других отребий.
Я ищу тебя, своего пилота,
бросившего на мель мой легкий жребий.

*)

Мусорная весна.

На берегу восточном Остзея,
в одиночестве, — как написано, —
во взвешенности, на ветру
хочу — ты сочтешь, конечно,
это смешным — услышать фразу
из иного места, из бытия
нездешнего, несколько тонов
певучего языка, еще не бывшего...
Эти широты — хотя бы и я
лишней счел их льстивую кротость —
отличаются белизной песка,
здесь хорошая рыба.

Здесь порой мне кажется, что, пока
там хотели, здесь, может быть,
могли бы.

*)

Твой лик, превращенный тенями в головоломку,
я считываю из черных точек и белых линий;
в проточную нежность окунаю голову, лоб, улыбку
и вынимаю нитку розовых лилий.

Если начнешь вдруг молиться во церкви на студеном
плачущем озере, оставь свою тень при входе.

Журавль и синица согреют ее не хлебом единым,
я ж подгребу со временем с кровью и плотью.

Я ведь имею всё, и себя тем паче.
Ближний берег, дальние дачи.
Эта коса заменяет тебя мне, и столь удачно,
что, будь ты женою кесаря, не стала бы дальше.

*)

Эти дрова не горят, и леса над озером
тонут в сплошном мираже
весеннего полдня,
без искры извне.
Одни качели раскачиваются
взад-вперед, и временно
мы равны на их весах.

«Все чаши мира, — сказала ты, —
сольются в одну мою, когда
другие взойдут на помост,
и тебе суждено видеть
мою крылатую тень,
кто б ни стоял
напротив».

Пристегнись. Над млечным плёсом хлопбк.
Заводи, и я тебе покажу: мельничное
колесо прорывает хлопок пристани,
и заводи меняют кожу.

*)

На черном серебре след упавшей слюды
или звезды, распавшейся, как слюда.
От берега до горизонта твои следы
уходят и теряются без следа.

А память разойдется: к кругам круги,
к ряби рябь и тишина к тишине.
Белый жар — к хлебу твоей ноги,
к вину твоей руки — алый снег.

*)

Двое вдали
на ветру у моря
под мелким дождем
стынут, скукожившись;
капюшон выдает
женский образ на задворках
мультилингвальнейшего из сообществ.
Подойти, погреться
их выморочным теплом,
нежностью, хмурой,
как дружелюбие камня, изо дня
в день в штыки встречающего волну.

Корабли твоих снов
всю ночь плывут по венам,
развозя отравленный воздух.

Кабы не странный наклон деревьев,
могло бы присниться,
что море играет с берегом в «го» или «нарды»,
из одиноких ракушек выстраивая
сумеречное домино...

Кабы не птицы,
не барки, идущие на волнорез,
ведясь на чье-то окно.

Да, когда бы не птицы.

*)

Нашу печаль выпила лодка на этих волнах —
тех самых, большой глубины,
большой старины и седины.
И то, что стояло в планах, не
выполнено и стало: сны.

А что бы со всеми нами случилось, кто всех их
из месяца в месяц, вот
так, из года в год, —
если не вечное эхо —
не этих вод?

*)

Наши дрейфующие хутора и летучие проселки
откуковали свое, отгнездились, и вот сидят,
нахохлившись, под кисеями серых небес,
рассчитанных на двоих, максимум,
троих, как в шатрах чайханы.

Вдалеке, пожалуй, ну очень вдалеке
море, не сдерживаемое берегами,
бьется в схватках с известняком,
омертвлением, плавником
вдоль спины.

В долгих криках, порожняком,
встречным курсом ты ко мне,
я к тебе, беспризорная баржа
с блесной в десне без слов,
без снов и без объятий.

Чьи зовы мы слышим?

*)

Холмы созрели. Облако синевы
стекает от предплечий и до лобка.
Иисус идет, не касаясь густой травы,
беспечный – от костела до кабака.

И карты рая брезжат передо мной,
натянуты на темные бреши дня.
И крылья падших изрешетивший зной
покалывает нежно тебя/меня.

*)

Солнце бьет в глаз восточному соседу,
пересекающему соборную площадь,
могучую булыжником позднего нанзианзина,
вбитым в русский торф гастарбайтером победившей орды.
Трудно тянется день над стрелкой затрапезных рек,
хмурия монгольские скулы,
и павшие витязи высылают вранов и голубиц своих душ
вкусить его сдобной ветхости.

Жизнь лишь начинается. Я пью стоя...

*)

Розово-сладкий бит
яблочной густоты.
Если кто не убит,
пусть это будешь ты.
Тот, кто с тобою ест
яства, пусть он и есть я;
золото здешних мест
требует тонкой лести.

Правая твердь в левых морях.
Бравая смерть. Блеф сентября.

*)

Как бы то ни было,
открытый висок искушает,
кажется,
сильнее, чем обнаженная шея;
их незащищенность — наше
оружие, вольных стрелков.

Небо, небо, небо
(дезо, серебристое наподобие
махового крыла альбатроса,
асфальтовая повязка ниндзя,
иероглиф 'янтарь'
(осенний покой комнаты
при закрытых дверях;
он же ласковая улыбка пены,
льющейся через край бокала))!
Тонут в предвечности чаячи крики,
но есть ли надежда на хоть одну еще зиму?

Горстка бакенов:
знак в море укон.

Уходящий в ночь плачет,
остающийся в ней —
платит.

Морской закон.

*)

Под вечер он вышел за городские ворота.
Волосы стелились по ветру серой поземкой.
Осенние листья медом текли мимо рта.
Дорога раскачивалась от ударов подземки.

И он отнюдь не казался нищим в пинках, щипках
и городках лоскутного одеяльца.
Но, когда почувствовал сок на веках и воск на щеках,
то, не оборачиваясь, узнал эти пальцы.

Ибо бои подступали к его судьбе,
и он прорывался с ними сквозь боль и муку.
Но, когда почувствовал кровь на шее и кровь на губе,
то, не оборачиваясь, признал эту руку.

**) переводы*

У л д и с Б е р з и н ь ш

СТИХОТВОРЕНИЕ О СТАРОСТИ

1

(Иоанна 21 истинно истинно говорю тебе когда ты был молод то препоясывался сам и ходил куда хотел а когда состаришься то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет куда не хочешь) а Петр смеется.

Учитель он говорит что ты о старости знаешь ты умрешь молодым.

Молодому страшно его ведь можно убить со старика что возьмешь жизнь его птица в ветвях.

Юноше страшно его окуют цепями старый и в яме свободен свобода его птица в небе.

2

(Все проходит) неохота чушь молоть (все проходит) надоело бахвалиться старость близко и каков ты есть таков ты есть (чего лукавить).

Возраст приходит как ливень

Смывая пыль.

3

А иной до последнего вьюном вьется
с ведром к колодцу пока не споткнется

пошел черпать а куда на что
льет а что и не знает во что

так год за годом полжизни мимо
придет ли старость да и старость жди мол.

Начнет похвалятся он тем что было
тем что в годы мужа свершил он

добро он копит (а добро гниет)
так полнится чаша за годом год

в гробу он лежит свечи горят жизнь прошла
что старость отвернулась мимо прошла.

4

Лишь бы сердце было зрячим
О глазах не плачу.

5

Еще одна вещь хороша то что спина не гнется.
Старому трудно юлить старому пятиться трудно хо-
чешь не хочешь надо стоять на своем.
Копейка осталась лежать унизиться не пришлось
(ботинки не зашнурованы но это пустяк).

6

Дай мне Бог старости на порог.

ПАМЯТНИК ДОНУ АЛЬФРЕДО

ВЕСНА

По выданным листкам бегу, четыре евангелиста следом, и нянечка, и директор школы, хватают за одежду, ножки ставят, в темном коридоре мы вскочили на шею сплетнику, она болталась в самой скользкой букве (букве Лам), Рамиз Ровшан из Испагани пишет, оказывается, другою буквой по сей день жнут женщины пшеницу (буквой Син). Я в суффиксах и префиксах укрылся (в значениях побочных — выручай, покров семантики!) Да, Библия нежнее у армян, она пленяет старыми цветами (те краски не поблекнут!), но письма восстали на меня, дерется переплет и рвет рубашку, на пальцах кровь; зато в одном задрипанном изданье бесплодный, но сердечный литератор (из москвичей) желает мне добра. Разбужена весна, и бисмиллах! дорогу строят птицы, черт громоздит холмы. Как каждый год, коня седлают Тощий, а Жирный охает, но лезет на осла (их путь на небо!), уж Мальчик-с-Пальчик начал в дудку дуть, пошли большие Ноги, из Чрева в тучах льет кипящий дождь — дуй, дуй, пускай шатают зубья леса, хоть лето коротко, садись на царство, Дух, и проверь ладь!

Теперь о муже смелом и о снежном поле: листе бумаги белом. Альфред Кемпе, день короток, зима бездонна. А где Январь? В тех первых «Отче наш». А где Февраль? Прошел, не начинавшись. Метель метет. Полшага уступи ей — все, чем ты жил, поглотит энтропия. Бог пашет землю, черт посева топчет. Черт глину мнет, бог кружки бьет — и точка.

Из кадки бытие на скатерть лезет, и скоро с языка вся кожа слезет. Нет выхода — мы смелому позволим врать, сплетничать и слушать ветер в поле, и переключивать: из рук у бога кружки выхватывать и черту кладку рушить; и, с Братьями схлестнувшись, духом сдвинуть ту стену, что любому сломит спину. — Как всякий, кто со Смыслом будет спорить, он на своем веку хлебнет немало горя. Не испугавшись ни числа, ни знака, замерзнет в снежном поле, как собака. Но приходит время, и сегодня мы все возвращаемся в сумерки.

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Перо взял в руки Фредис пишет Слово Да и Нет кругом бумага

и Да и Нет (постой Да или Нет?) одна бумага
(вон у эстонцев есть словцо ни Да ни Нет а посередке вроде Да и в то же время Нет)

Да или Нет в башке туман проклятая бумага
(скорей чернила: Слово! я нашел ни Да ни Нет)
есть только Да и Нет (так Да иль Нет?) бумага все бумага

хочет Нет трясет козлиной бородежкой береза
сохнет брат не пришел с войны лиса сжирает гроздь дон
Кемпе близко к сердцу

да говорит бумага Да бушует брага в колесе хозяйка
ставит магарыч хрячок визжит в сарае и рано будят пеху
(есть тыща книг и всюду Да да Да)

Да Да Нет и бумага.

Ладонь потеет шелушится слово заика Кемпе ногти
сгрыз а Вейнемейнен встал в дверях смеется.

ПЕСНИ И ПАДЕЖИ

По волне скольжу.

На одной ноге башмак, на другой баркас.

Подо мной салака, надо мной чайка.

Море что пол вощенный.

Тонул, бывало, от волос и чешуи вал зелен, солон, быстр, и крепко-крепко пето (в армии: мотивчик тот же самый, а падеж другой).

Порядком стынул, лгал. Да, зелен, солон, быстр, да. В любом есть чуточку меня, во мне любого пропасть.

Порядком пито, ругано.

Над бочками ганзейскими без дна сплошная толща.

(Там песни не в ходу, и падежи.

Нем на немом там.)

Который век с тебя не сводят глаз там парики на берегу, здесь сельди в бухте.

И слишком мало пето. Задешево ложились в землю.

(Зелен, солон и быстр.)

ДОН АЛЬФРЕДО ПРОЩАЕТСЯ С НЕЗАВЕРШЕННЫМ ТРУДОМ

Ах, жить не живши, уж стареем, не спрашивая, видишь сам, как, что ни осень, то быстрее мелькают спицы колеса.

Поют, дерутся, плачут семьи (и брат напрасно брата ждет), был год весенний, год осенний, но грянет страшный зимний год.

Ни привилегий, ни прощений, ныряет лампочка в патрон, а в круг со стен сигают тени: шут, черт и ветхий Кальдерон.

Ай, слышу глазом, вижу кожей, кому верхки, кому горшки; на костылях бредет весть божья и волос валится с башки.

БЕГИ НА УЛИЦУ

Брат трупный запах идет от скучных ты на улицу беги.
(Дон Альфредо Кемпе по небу идет.)

Все смотрят в стену в рот все ищут нет ли фиги они и есть те будущие что грядут за нами но ни рук ни ног у них а только туша в туше дырка берегись той прорвы на улицу беги.

(Безумный Фредис Кемпе по небу идет.)

Не чешутся ни руки ни язык (все к черту! энтропия!) ничем их не уесть молчат угрюмо а ты чего расселся на улицу беги.

(Сам Альфред Альберт Юрис Екаб Юлий Павел следом Кристап с ними Август Фрицис Кемпе по небу идет бряцают шпоры.)

НАБЕРЕЖНАЯ ДВИНЫ

СТИХОТВОРЕНИЕ ОБ ОДНОМ НЕМЦЕ

Сырой занозой штык влезает в сердце.

Хрипом сорвались слова с тевтонских губ на землю
сырую сорвался тевтонский лоб моей землею стал.

Тевтонская душа идет домой веселым странником
мурлычет тихо песню печальным Рейном нам не по пути.

СТИХОТВОРЕНИЕ О БЕЗУМНОЙ ЖАЖДЕ

Год девятнадцатый и за зубами не язык а вот такие
пироги мы гадов бьем брань зреет как чирей у Бога в ухе
на пруссов Юрис Церс идет задохся шаг нетверд в руках
винтовка целит целит а линзы толстые и губы жирные сме-
ются я латыш я вечно любить хочу на землю падает и лю-
бит любит Янис Буш идет он каждой бочке затычка целит
целит очками оседлан шнобель я латыш я вечно хочу на
землю падает и вечно вечно Федька идет Сазонов скольз-
кий как сазан и пышный как фазан идет жиган с форштад-
та рижский парень я латыш ведом гигантским духом где
глаз на лбу там огненный плевок на землю падает ведо-
мый духом встает Сазонов идет и обирает горстью кровь
эй мимо черных чаш зеленым долом по снегу талому ле-
тят ребята и Францис Упениекс и Улдис Лейнерт парень
ты лети и честь копи и желчь чтоб не остаться с носом па-
рень ни хрена копить не надо парень я латыш я вечно
драться хочу из прусса душу вытрясу из аксельбантов цар-
ских вырву жабры я латыш я вечно тобой ведом я твой не
страшно ты осеннее шальное утро я вечно петь хочу остер
хмель смерть тупа и жизни не жаль достать бы пруссака и
астру красную одну такую астру крик сохнет с астры схо-
дит цвет по животу и по рукам на нет.

ЭПИСТОЛЯРНАЯ ПРОЗА

I

Ежели хочешь, Франц, возвращайся в Ригу.
Только не в сапогах (сапоги с тебя мертвого стащим).
Франц, возвращайся в Ригу. Ясный перец, ты
хочешь в Ригу — ведь другой такой нет.

Надуйся и приходи.
Хвались, сколько влезет, что ты Ригу строил, что
ты на шпиль Петру насадил петушка.
Потом покажи, на что годен. Ежели на что-то
путное, то по рукам.

Я знаю, ты хочешь в Ригу. Снова май, нахтигаль
распелся.

II

Франц, босиком возвращайся в Ригу.

БЕЛЫЕ КОЛГОТКИ

Раз имам меня спросил, спросит
вдруг иван: правда ли, что в вас Мессия,
или вы – обман? Но в столбцах заплесневелых
выдвоенные кем-то пущены мы в дело. Выдуманные,
что несемся в маскхалатах, как в халатном сне, Пецис,
Йецис, Макс&Мориц, веселы, как снег, не на той войне мы
стынем, с нами пополам сам не хочешь ли в пустыню,
алейкум'-с-салам!
но к твоим колготкам белым, выдуманная, карабин несущу
с прицелом,
выдуман и я; Алла' алим, байты биты белые во мне, с кем
за Ригу будем квиты, на какой волне? что в твоём мне
делать свитке, ангел Азраил, обобрав меня до нитки,
мой свинец остыл, как же быть? А веселиться,
всем нам жестко стлать: «Исполать вам,
виселицы!» – «Тебе исполать!»

*)

Есть особый любовный час: августовская нега, маятники весны молчат перед осенним бегом, занавесившаяся голова удары усталых весел, заневестившаяся трава жар запоздалых чресел, угольки из горна к губам крон золотистых веток – послеобеденная волшба, последнее солнце лета.

*) *с латышского*

О я р с В а ц и е т и с

*)

Я не знаю, где ты живешь,
я не знаю, живешь ли ты.
Такая жара,
что медленно закипают сирени,
оплывают свечи каштанов,
и акация
вызолотила тротуар.
И сквозь угар отцветания
я не улавливаю знака,
что ты меня слышишь,
что ощущаешь,
как некто вглядывается в тебя столь
пристально, что нужно вскакивать ночью,
нужно вздрагивать днем
и нужно бежать к горизонту
пустому, за которым лишь марево
и безымянный призыв
дальше.

СЕРОГО ЦВЕТА

Я превратился
в одно-единственное серое око:
 из серых луж
 пьют серые голуби;
 серый дождик
 серые лужи
 вгоняет в серую дрожь;
 на горизонте
 из серых башен
серая клякса...

Серый туман,
клубясь, наползает,
как пепел пожараща...

Я превратился
в одну-единственную серую ноздрю:
 ворсинки шарфа
 меня щекочут —
 как в двигателях сожженный бензин;
 серые пятна
 на досках лесов —
 как будто плотник прошелся;
запах гари —

вчера в этом городе
день загорелся, скроенный наспех,
и я в это
серое утро
вчерашний угар вдыхаю.

Он — старый солдат,
проснувшийся от одной-единственной

боли в костях,
ноющих к перемене погоды
в местах ранений,
которые многих на той войне выжгли
дотла, —
он тоже чует запах горелого.

Он — мчась по ступенькам —
еще выстраивает те формулы,
что заставят шататься фундамент физики,
скрепляя который,
сгорели многие, —
и снова воняет гарью.

И по всей квартире,
по всей улице,
по всему городу
паленого серый запах.

Я просыпаюсь
в час предрассветных сомнений
и по уши зарываюсь в серый и рыхлый пепел,
по которому мы ежечасно
и ежеминутно
бредем к своим
собственным радугам.

Мы каждое утро,
порядком еще не проснувшись,
влезаем в этот
вчерашний
густой серый пепел
и, почти не задумываясь,
трамбуем его,
превращая в асфальт на сегодня.

*)

Твои слова меня
влекут, словно волны,
вплывь,
в мистическом свете
Луны —
в них весомость, в них невесомость, и память скользит
вдоль ресниц снежной совой, я застыл на месте, а ты
меня несешь и несешь еще и еще...

Твои слова меня
обжигают, как клетот поленьев иззябшие руки
решившего клясться, отогревают их для восхождения,
сдирания кожи, я должен быть на вершине, где встала,
лавиной застыв, и зовешь, и зовешь еще и еще...

Твои слова меня
ранят, словно шипы ладонь без перчатки, я бьюсь о них
птичьей грудью жемчужной, скоро по ней прольется
оранжевый жемчуг, ведь слова эти рвут, продираясь к
кровному братству, пожалуйста, рви меня, рви еще, и
еще, и еще...

Но глубже всего пред тобой
меня заставляет склониться
до самой земли
та тишина между слов, та нагота между слов и то, что
позволено мне в обнаженности этой до боли счастливой
застыть, ожидая — что еще, что еще и что еще...

*)

Отапливаемые центральным отоплением
никогда не бывают согреты,
как нужно —

где только можно,
когда только можно,
они разводят костры,
которые идут за ними,
а они смотрят
застывшими глазами
в этот живой огонь,
с ностальгией,
с эмиграцией
в этих застывших глазах.
Господи, пожалей их, они так красивы.

В разжигании огня
есть свои первоклассники,
гимназисты,
магистры,
академики,
мэтры и подмастерья,
но нет несогревшихся.

Разводят огонь
чем угодно
и, в общем-то, всюду,
он хорош для всего:
можно варить еду,
сушить одежду,
сунуть руку
и клясться.

Это уж как когда.

*)

Как перелетные птицы
туманной весной
к руинам
в несуществующую больше Елгаву
все же вернулись,

так сегодня,
вчера
и завтра куда-то возвращаются
люди.

Как перелетные птицы —
с печальными песнями,
звонкими
или глухими,
к руинам возвращаются
люди.

Сегодня,
вчера ли,
завтра —
стыдясь
своей птичьей доверчивости,
возвращаются
люди.

Я тоже,
бывает,
курлычу, как перелетная птица,
мой крик печален —
кто знает,
может, я возвращаюсь
к руинам?

*) с латышского

К а р л К р о л о в

*)

Каждое утро верует в Господа.
Синие рыбы снуют на острие его взгляда,
и тени от рук и бедер
сочны.
Тишину разбивает дикая горлинка,
затевая песню.
Женщины собирают перины,
под которыми ночью они были одни.
Сметаются
обожженные темнотой спички.
Загривок утра лоснится.
Каждый хотел бы
опереть на него
ладонь.
Я слышал на улице,
что у тел отобран их возраст.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Ночь будет черна и бела...
Жерар де Нерваль

Не ждать! Ночь будет черна и бела,
Чернее, чем жжена пробка, какой наводят цыганские брови,
Белее, чем гибель Вирджинии на Иль де Франс,
Подхваченной ангелом джунглей.

Черна и бела ночь, полна неверных шагов
под lanternами,
Полна губ из сажи в темных сенях,
Полна губ из снега, повторенных нежно воздухом,
который тает на них,
Полна пришлых, предательских слов.

Не ждать! Ночь словно школьный мел,
поддавшийся детским деснам,
Ночь словно фитиль свечи и прядает от первого шепота:
Черна и бела.
Ну, а за ней — твой лик, травленный на оконном стекле,
В комнатном ливне слез,
Профиль дамы, показывающей свои груди мужчине,
Что вот-вот бросит ее.

Не ждать! Ночь будет прекрасной,
с ветром, родившимся в волосах,
Стерильною белизной отчаяния,
Дегтем непроницаемой тишины,
Черна и бела...
А в ней я: ломкий хворост, без памяти, без раздумий,
Вязанка, на которую упал свет одинокой звезды.
Последняя ночь, сегодня никто не ждет!

ОДА 1950

Скорбных лозунгов хватит: — парабол, что снова
речь ведут ни о чем, как о хрупком, осеннем, что, словно
листва,
распадаясь, ржавеет. И, как ни безжалостно слово,
поражает не больше, чем рыба Товита, едва,
превращаясь и преображаясь во рту, вместе с
призрачной модой,
как пылающий стог, еще раз дух становится одой.

Ну так как же нам быть,
чем ослабим зажим
сумасшедшей судьбы,
как не заморозим
ее звуком трубы,
видом странно-чужим,
и по пепельным струям
поплывем, поцелуем
ветра и голосами
зачарованы сами?

Уравнение плода: кто вывел его? На поющих столах
полудневных кипящее, в серебряной супнице ночи!
Ощутимо, маняще и близко. Я взмахами слова-весла
ускользнувших пытаюсь настичь: нежной алгеброй

сочных
и открытых слогов, связок мыслей, что вспыхнули рядом
и плывут на сияющий месяц, как сестры-плеяды.

Да, но даже
волхвованием голым
ничего не докажешь:
воркующий голубь,
колокольчики плача
— бесплотны, туманны —
мимолетны. Я прячу
их под пологом, тканым
из цифр и знаков,
чей смысл одинаков.

Значит, пропасть? — Не пропасть, но предвосхищенье
соблазна:
как бы мягкой ловушки, расставленной вне языка,
поэтической сети, раскинутой волнообразным
колыханьем косы или пеньем в ночи тростника;
то есть, дар и способность уверенно-просто,
уловив среди призраков дух, извлечь вытяжку впрок
и причалить к эпохе, что брезжит — магический остров —
в историческом мороке, где шквалом свирепствует рок.
Я словесный радар, задрожавший над бездною моря,
окунаю в раствор бытия. Он прозрачен и горек.

*)

Из чьего-то окна
хлынул свет.
Тотчас распускаются
розы воздуха,
на улице
дети вскидывают глаза —
они играют.
Голуби лакомятся
пряником света.
Девушки хорошеют,
а мужчины добреют
в его лучах.
Но прежде, чем они скажут об этом друг другу,
чье-то окно
захлопывается.

та третья часть что делать с ней он не знал
хоть она и росла не отходя от кассы
уже скопился приличный гербовый капитал
и он отдал все на будущий мост
что должен вести через Торнякалнс к Юрмальской трассе

теперь аристократа нет
улитки плодятся в дворцовых парках и Бог с ними
исчез и базарчик воздух от нашествия автоулиток пухнет
но если в каждую опору моста не вмуруют герб
боюсь он рухнет

ПОЧТИ ДНЕВНИК. 1989

26.01

по рельсам мчит дрезина среди рифм и ритм
непрост

но дважды преломляясь между туч
по закоулкам и промоинам горит
дрезина как последний луч
с которым баню истопить и покурить ольхой
и травы освятить и упросить чердак
и сердце сердце прятать глубоко
едва заплещет грусть пусть будет так
торит дрезина путь и можно петь
здесь где-то зона караваны у ручья
и птица бьется пойманная в сеть
еще ничья

23.01

когда ты стынешь схваченный ненастьем
за крест церковный зацепившись шпорой
еще купить весь город в твоей власти
с осенним рынком речкой и собором

кто дорожит пропахшею болезнью
и грязным трюмом денежной бумажкой?
уж лучше скрыться где-нибудь в подъезде
иль к мачехе податься в замарашки

ах золотая пленка на которой
дрожит весь мир серебряной луною
еще ты можешь сторговать весь город
и Бога не пустить в окно ночное

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР С УТРА

Вроде все позабыто. Лишь след до сих пор прохладен.
Дождь смоеет все следы. С остальным сами сладим.
Трясогузки клюют по зернышку. 6 баллов волны.
Стропила вдруг стали вантами. Полночь.

Тьма. И я рисую фантазию.
Через SOTHEBY она отправится в Азию.
В салатových комбинациях музы кругом порхают.
Дождь и ветер. Не сахарные, не растают.

Ветер наглеет навстречу.
All You Need Is. На встречу
с судьбой поспешает кочевник.
Ритм рван, нос испачкан. В харчевне

дух бараньей похлебки, вина, чеснока.
Сюда заходят в поисках закутка.
Алюминиевая плошка с дольками апельсина.
Чаша полна. И ветер. С утра слишком сильный.

СТИХИ О СЛАДОСТИ АЗАРТА

Причаститься можно повсюду.
В церкви, в избе, в Мазирбе, в Мазсалаце.
Главное:
совибрация.
Чудо.

Юрмала. Дюны, перелески и Саулкрасты,
фуникулер лунных бликов, т.е., переправа.
Луч локатора ловит отчаянных.
Причастие нон-стоп. Слава!
Сентябрьским сумеркам! Угарным ветрам, балласту
и китайскому чаю!

Христово тело воскресным утром. Глоток кагора.
В понедельник с изюминками грильяж.
Или с орешками, но время пойдет еще в гору.
Надеюсь, примется. Сладость азарта.
Мираж.

Тем не менее, музыка сфер в извивах корней.
Если можно назвать поэзией то, что мне снится,
это — алиби, невиновность. И мы с тобой не
более чем нарушители границы.

ЖАНРОВЫЕ КАРТИНКИ. ПОСЛЕ ВОЙНЫ

КУРЗЕМСКИЙ БЕРЕГ

Якоб усталый рассвистал свои лодки по свету
медь столетий горчит в кисетах пора и подымить
свить лоскутик того табачка снять стружечку этого
яблочка выцепить какого-нить под дверьми

но Дарте неймется мозоли да зуд постигли
что кара небесная пальцы гребут по рядам
днем базарным

а в деснах беззубых что в тигле
плавится стран заморских звонкая дань

тих Иов после фильтрации

мается человеке

видно в башке этой что-нибудь стало дугой
вдеть бы бычье кольцо в ноздрю да коромысла на плечи
вздеть

пусть миры кружась не лезут один на другой

как там наш Янкеле обрящет свои горизонты
на крылышках тех восковых белым соколом вслед
слепящему ветру

слепому от ярости солнцу

но взгляд исподлобья
молочно-сед

горный воздух бодрит: Радагайс, зеленый подол Европы
урановая руда и гномик Румцайс с горняцкой лампой
вылез из книжки с картинками, прошел сквозь облако
(горы, как опиоманы?)
по тайным тропам
на лыже одной, получил золотую медаль, сияет

богема праджеров. Стою в карауле, полон
интернационализма
звезда просвистела мимо ушей, в пустоты провалов
на другой стене надпись: парень, иди домой, Федя твою
Наташу
заболело колено, кругом чернота — скоро сменяться

седьмое вступление. Утомительно. Рестораны внизу
ни на час
крыши особняков острые, как пирамиды (в Риге знаю,
кто этой ночью не спит)
вдруг полыхнуло, и в ритме ча-ча-ча
вонзилась еще звезда, попала. В яблочко. Гаснет. В сердце

Ч е с л а в М и л о ш

МНОГО СПЛЮ

Много сплю и читаю Фому Аквината
или «Смерть Бога» (такая протестантская штучка).
Справа залив как застывшее олово,
за ним город, за городом океан,
за океаном океан, аж до Японии.
Слева сухие взгорья с белой травой,
за ними долина, где в воде растет рис,
за долиной горы и мексиканские сосны,
за горами пустыня и овцы.
Когда не мог без спиртного, сидел на спиртном.
Когда не мог без кофе и сигарет, сидел на кофе
и сигаретах.
Смелым был. Работящим. Служил примером.
И на хера это все.

Пан лекарь, мне больно.
Не здесь. Нет, не здесь. Сам не знаю, где.
Может, от избытка островов, континентов,
невывказанных слов, базаров и шапито,
или вина по-черному, без красоток,
будучи в скобках кем-то вроде архангела
или Святого Ежи на проспекте Святого Агнца.

Пан знахарь, мне больно.
Верю с детства в сглазы и привороты.
Натурально, у баб одна, католическая душа,
зато у нас две. Когда вмажешь,
во сне являются сгинувшие народы
и даже земли, которых нет.

Вынь, прошу тебя, крылатые амулеты,
порадей своему.

Я прочитал много книг, все херня.

Боль возвращает нас на забытые реки,
с древними крестами, знаками луны и солнца,
к чародеям, бьющимся с эпидемией тифа.

Отправь свою вторую душу за море, за время.

Я подожду, расскажешь, что повидал.

ОЧАРОВАННЫЙ ГУЧО

*От существа до ничтожества путь безмерен.
(«Приятные и полезные забавы», 1776)*

1

Рожок в покатых полях.

Вот смерклось и птица летит над низкой водой.

Рассвет за проливом приветствуют лодки.

По царским кудрям поднимался к чертогам лилии.

Дана была жизнь только взять нельзя.

А восходящее солнце дарило экстаз как в детстве, так
в старости.

2

Стольких утренников хватило бы не на одну жизнь.

Не открывая глаз, был великаном и карлом,

Облекшись перьями, шелком, жабо и забралом,

В женском платье, с сурьмой на бровях.

Не уставал млеть над каждым цветком,

Стучался в запертые хоромы бобра и выдры.

Не может быть, что все это многоголосье

Забуду меж тюбиком пасты и сломанной зубочисткой
На столике в Вильно, Варшаве, Париже и Калифорнии.

Не может быть, что умру покуда не взял.

3

От вкуса и запаха черемух над реками
Сознание откочевало в тень шиповника, лавра,
В шкатулку черепа собирая пробы Земли.
Над ним оранжевая кора секвойи
И сойки, не помнящие Витуса Беринга,
Складывают крылышки цвета индиго.
Идет себе без друзей и врагов
Лесистым склоном мимо орлиных гнезд.
Недоступное ужам с золотой опушкой,
Не постигающим тайны ужа и дерева.

4

Звезды Филемона, звезды Бавкиды
Стерегут их дом в дубовой плетенке.
И странствующий Бог, развалясь в гамаке,
Крепко спит — ладонь в изголовье.
Тупорылый жучок набрел на его сандалию
И прет, пыхтя, по выглаженному стопой плоскогорью.

Слышу звуки рояля.
Крадусь влажной тропической чернотой,
Скрывающей пустые бутылки из-под голландского джинна.
Показывается дева с прядкой за ухом.
Я сам, пока полз на карачках, оброс бородой
И мой арбалет раскис от снегов и ливней.
Она, игра, становится девочкой и идет на горшок,
Поправляет трусики, слезая с качелей,
Со мной или своим кузенком пробует нескромные вещи.
Ее, совсем седую, облезлым предместьем
Везут туда, куда однажды едут все девы.

5

Любезен мне он, поскольку не искал идеальной вещи.
Если слышал: «Только предмет, которого нет,
Совершенен и чист», – краснел, опускал глаза.

Карманы набиты свинцовыми карандашами,
Хлебными крошками, издержками бытия.

Год за годом ходил кругом толстого дуба,
Прикладывая ладонь ко лбу, мычал в изумленье.

Завидовал тем, что одной чертой рисовали дуб!
Однако неточность считал чем-то нечистоплотным.

Символы гордым, занятым собственным светом.
Хотел вывести имя вещи из опыта глаз.

Состарившись, в табачную бороду кашлял детям:
«Да лучше сдохнуть, чем жить как эти».

Как Брейгель-папаша сгибался вдруг пополам,
Подглядывая за миром сквозь раздатые ляжки.

В такую высь вздымается дуб, что взять нельзя.
Подлинный, подноготный до сердцевины. Да.

6

Корили за то, что женат на одной, а живет с другой.
Некогда — отвечал — разводиться и все такое.
Не успеешь встать, махнуть валиком пару раз, уже снова
вечер.

7

Проныра Гучо обернулся навозной мухой.
С мушиной стайкой умывался на круче из рафинада
И бегал зигзагом по сырному лабиринту.
Через фортку попадал в сверкающий сад.
Без руля и ветрил катамараны из листьев
Везли наполненные радугой капли.
Замшелые парки с прогалинами росли в ложбинах коры,
И прямой пыльцой обдавали их гибкие мачты тычинок.

И хоть продолжалось все от полдника до обеда,
Обязательно после, при свежих брюках и пахучих усах,
Размышлял, подняв фужер с алкоголем, о том,
Что является самозванцем, ибо мухе не пристало судить
о тарифах и конституции.

Женщина напротив была вулканической цепью,
С ущельями, кряжами и кратерами, в которых
Напор земли ломал узловатые корни сосен.

8

Между нами был стол, на столе стакан.
Локти в ссадинах утвердила она на столешнице,
Как зеркало отражавшей ее подмышки.
Капля пота скатилась на вздернутую губу.
А космос меж нами дробился безмерно,
Жужжа оперением стрел элеатов,
Неисчерпаем походами длиной в год или сотню лет.
Опрокинься стол, что бы мы сотворили.
Акт-не-акт, извечно потенциальный,
Как неизбежность сошествия в воду, дерево, минерал.
Но и она лишь вглядывалась в меня, как в кольцо
Сатурна,
Зная, что и я знаю, что взять нельзя.
Так обрели дом человечность и нежность.

ГОРОД, ОТ ТЕБЯ НИКУДА

Город, от тебя никуда не мог я уехать.
Давал большого крюка, но сжимало, как пешку в пальцах.
Хотел убежать по земле, раскручивающейся все сильнее,
Однако всегда был там: с книгами в полотняной торбе,
Глазеющий на бронзовые холмы при башнях
Святого Иакова,
Где ползают маленький конь и маленький человек
за плугом,
Очевидно, давно умершие.
Ведь правда, никто не объял мира и города,
Синема «Кинг Люкс» и «Гелиос», вывесок Гальперна
и Сигала,
Сквера на Щвентоерской, она же Мицкевича.
Нет, никто не объял. Ни у кого не вышло.
Но если существование крепится последней надеждой:
Что такого-то дня только прозрачность и резкость,
То это, право, жаль.

VENI CREATOR

Явись, Святой Дух,
сминая (или же не сминая) траву,
колебля (или же нет) высокий огненный столб,
в часы сенокоса или же в пору пахоты,
в кольце ореховых чащ или в Сьерра Невада,
в снегу, лежащем на уродливых пихтах.
Я человек и тоскую без видимых знаков,
жмет виски высокий купол абстракции.
Не раз упрашивал ангела на пороге костела
взмахнуть крылом, лишь для меня, однажды.
Но все Твои знаки носим в себе мы сами.
Ну так сотвори мне где-нибудь на Земле одного человека
(другого, ибо надо соблюсти хотя бы каплю приличий),
чтобы, смотря на него, мог видеть Тебя.

ХРОНИКА

Эй! Нарожаем детей! И наплодили-таки, усатых, с саблями, в башлыках.

Заодно и красавиц, что мочатся, не сгибая колен, затянуты в перчатку до подбородка.

Лебеди тележных колес, майданы и колодцы во мгле вспугнуты были нами.

Царства же, от пьяного замка с покосившейся башней до тонущих в грязи черных хат.

Лица богов по образу и подобию своему высекли из камня, дабы жгло и болело.

Серебряными сердечками на цепочках увешали росстани, названивая в колокола.

Но вот накрыло нас облаком и прошло и тут внизу тишина.

Лишь раз порой отхаркнется бездна, летом или весной.

Бывает, кто-то из наших идет по пляжу за автострадой, лесом, в бортническом капюшоне, озирая их наготу. Хе-хе.

НАПУТСТВИЕ

На месте юных поэтов
(месте высоком, как бы ни брюзжал современник)
я остерегся бы думать, что жизнь наша — сон безумца,
бессмыслица, воплощенные шум и ярость.

Что правда, то правда — я не видел торжества
справедливости.

Уста младенцев молчат: ничего такого.
И коронованный шут со стаканом в руке,
визжащий, что он на короткой ноге с Всевышним,
поскольку столько-то ослепил, оскотил, забил,
подчас умиляет слушателей: экая душка!

Господь не умножит доброму стад и верблюдов,
равно как ничем не воздаст за кривду и душегубство.
Давно не навевывался к нам в палестины, и уж позабыли
про вспыхнувший куст и сердце сына еврейки,
готовое терпеть за всех, что были и будут.

Не знаю, ожидает ли Ананкэ своего часа —
окоротить спесь и зарвавшийся разум.

Люди зарубят пусть себе на носу,
что живут лишь милостью сильных.
Так что давай пить кофе, ловить стрекоз,
а любящему Речь Посполиту отрежут руки.

А ведь Земле положены какие-то стройность и нежность.
Я не беру узаконенные дива природы,
барочные реквизиты. Луну, пузатые облака
(хотя, конечно, черемухи пахнут так нежно-сладко!)

Я бы советовал держаться от природы подальше;
от сумрачного упрямства бесконечной вселенной,
бесконечного времени, от ядовитых слизней
в огороде на грядках, полками на марше.

Так много смерти, и поэтому нежность
к юбочкам на ветру, девичьим косичкам,
бумажным корабликам, чье плаванье мельче, чем наше...

НЕ ТАК

Прости. Мнил себя стратегом, как многие тысячи, что
отираются по ночам у людского жилья.

Воспылал гневом при закрытых дверях, боясь пересечь
замкнутую границу.

Зная большое, делился малым в отличие от тех, кто шел
присягнуть.

Сквозь выстрелы, погони и поношенья.

Думал, пускай пророки и мудрецы жертвуют жизнью во
имя народов, не языков.

Я же пребуду самим собой, ибо язык мой дар.

Проселочный, детский язык, уводящий величие в
нежность.

Распадаются гимн и псалом начальника хора, остаются
лады гармошки.

Ни разу не спел в полный голос, хотя желал бы вознести
иные хвалы.

Открыто и без иронии, полюбовницы смердов.

За семью кордонами, под рассветной звездой,

Речью огня, и воды, и рептилий.

ГОЛОСА БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

ПЕСЕНКА О КОНЦЕ СВЕТА

В день конца света
Пчела жужжит над цветком настурции,
Рыбак сучит суровую нить.
Скачут в море смешные дельфины,
Лепят ласточки гнезды из глины
И пень гниет при дороге, как должен гнить.

В день конца света
Женщины идут полем под зонтиками,
Потные посыльные валяются с ног.
А с лотков продают папиросы,
Лодка желтая в отмель тычется носом
И смычок над зеркалом плеса
Отмыкает звездную ночь.

А те, что ждали громов и молний,
Обманулись.
А те, что ждали знамений и ангельских труб,
Не верят, что началось.
Пока солнце садится в хаты,
Пока шмель грозится мохнатый,
Пока матери ходят брюхаты,
Кто поверит, что началось.

И лишь совсем сивый дед, которой мог быть пророком,
Однако ж не стал им, чтобы не докучать людям,
Скажет, подвязывая помидоры:
Другого конца света не будет,
Другого конца света не будет.

ПЕСНЬ ОБЫВАТЕЛЯ

Камень со дна, видевший высыхание морей
И тьму страшных рыб в муках смертного часа —
Я, бедный человек, вижу страшных несвободных людей
Тьмы и тьмы. Вижу краба, кормящегося их мясом.

Я видел крушение царств и гибель народов,
Бегство королей и владык, мощь тиранов.
Готов свидетельствовать даже перед плахой,
Что — жив, хотя бы все вокруг шло прахом,
Что псу живому лучше, нежели мертвому льву,
Как учит Писание.

Я, бедный человек, сидя на жестком стуле, смежив глаза,
Вздыхаю и думаю о звездном небе,
О неевклидовом пространстве, о почкующейся амебе,
О высоких гнездах термитов.

Пока хожу, грежу, засну — и в ясности горькой
Дрожу от страха и голода,
На площадях городов, исчезающих с первой зорькой,
Под мраморными руинами рухнувших врат
Торгую водкой и золотом.

А ведь не раз бывал совсем близок,
Сердце исполнено стали, душа — земли, воды и огня,
Неведомое раскрывало губы,
Как раскрывает их тихая ночь в объятьях залива.
И меднолистые кущи ласкали меня
Пальцами дива.

И вовсе близко, за окнами, заповедник миров,
В коем майский жук и паук – большие планеты,
В коем, Марсу подобно, блуждающий атом багров,
А рядом жнецы починают холодный жбан
Жарким летом.

Алкал этого, а более ничего. В старости
Ветхим Гете припасть к алтарю земли
И почтить ее, и примирить
С делом, поставленным, как лесная засека
Над током дежурных светил и мимолетных теней.

Алкал этого, а более ничего. Так кто
Виноват? Кто прозакладывал
Мою юность и пору зрелости, пропитал
Ужасом мои лучшие годы? Кто же,
Ах, кто же, о Боже, кто виноват?

И думать могу только о звездном небе,
О высоких гнездах термитов.

ЗАВЕДЕНИЕ

Из завсегдаев столика,
В зимние полдни украшенного узорами ледовой
оранжереи,
Я остался один.
Если бы захотел, мог бы сесть за него
И, барабаня пальцами в морозном покое,
Выкликать тени.

Иней на оконном стекле прежний,
Но никто не войдет.
Горсть пепла,
Пятно перегноя, засыпанное известкой,
Не снимет плаща, не скажет весело:
Идем напьемся.

С неприязнью ощупываю холодный мрамор,
С неприязнью ощупываю собственное плечо:
Вот мы, и вот я в осуществляющихся стремленьях,
А они заточены на вечные веки
В свое последнее слово, в последний взгляд,
И далеки, как император Валентиниан,
Как вожди массагетов, сгинувшие бесследно —
А между тем минул всего лишь год или два или три.

Я могу стать дровосеком в лесах Крайнего Севера,
Могу взойти на трибуну или снять фильм
Способом, им неизвестным.
Могу привыкнуть к запаху фруктов с коралловых
островов
И получить свое фото в костюме второй половины
столетья.
А они навсегда смешные бюсты в жабо и фраках
Энциклопедий Лярюсса.

Временами, когда закат красит крыши убогой улицы,
Заглянусь в небо — и вижу там, в облаках,
Колченогий столик. Лавирует кельнер с подносом,
А они глядят на меня, закатываясь смехом.
Я просто еще не знаю, как оно гибнет с легкой руки
человека.
Они же знают, они крепко знают.

И ПЫЛАЛ ЭТОТ ГОРОД

И пылал этот город, которым я возвращался,
И шла насмарку вся жизнь Рютбефа или Вийона.
Те, что родились по нас, свои танцевали танцы.
Зеркальца в их руках блестели новым металлом.
Что я мог с этим сделать, если нем был, как рыба.
Высилась надо мной всей земною громадой.
Лежал мой пепел в урне под стойкой бара.

И пылал этот город, которым я возвращался
К дому предков в укладке грановитой палаты
Рядом с блеском для губ, ящичком алебаstra,
Тампоном в сухой крови королевны Египта.
Было там только солнце из золоченой медяшки,
Медлящих каблуков скрип на мрачном паркетe.

И пылал этот город, которым я возвращался,
Пряча под шляпой глаза, хоть все уж поумирали
Из тех, кто не мог забыть неоплатного долга,
Невековечных тяжб, случайных проступков.
И пылал этот город, которым я возвращался.

Я н и с Р о к п е л н и с

У МОРЯ

конец, начало — раковины створки
нам нужно выжить между двух огней
не думая про жемчуг; в нашем море
он, знаешь, не растет; зато янтарь
не сын морской, но мокнущее время
ползет, ломая сосны под собой
нас осень заливает янтарем
зима выкусывает равнодушной пастью
и нужно выжить между двух огней
забыть про жемчуг; борозду свою
меж двух захлопнувшихся створок протянуть
не янтарем, не жемчугом — землею

ДЕТСТВО СЕТЧАТКИ И ВЕТЕР

Детство сетчатки, ветер,
да, очевидно, пронизывающий ветер,
земной фундамент сложен из ветра;
поцелуй растворен во времени и пространстве,
еще не уточненный ничьими губами,
жарко горящий спросонок.

Да, детство сетчатки, ветер —
осушитель слез, шуршащий ресницами;
пальцы искрятся, омытые снегом.

Детство сетчатки, ветер.

*)

своих попутчиков обнюхивает мозг
подобное подобного боится
пень сторонится пня и птицы птица
и месяц топит страсть свою как воск

остер чеснок как эллинские сны
и лук душист как сластолюбец старый
чем пахнут черепа после удара
ножам хозяйственным поет топор войны

хотя бы звездочку фиалки безголосой
лишь хмеля усик крохотный к усам
вновь чует разум как смердит коса безносой
припомнить силясь чем он пахнет сам

*)

лоб покрылся нотной ряской
капли нот под волосами
мелодичны твои ласки
пусть стекут на землю сами

с пола песенку поднимем
птицы поздние такими
греваются когда все ветры
за уши деревья треплют

*)

чужое тело рядом дышит
с которым прежде чем уснуть
такой узор знакомый вышить
мне предстоит скользит неслышно
ведро в колодезную ртуть
двух сигарет окончен путь
чужое тело рядом дышит
чья отчужденность дранкой с крыши
уже осыпалась чуть-чуть

СОПРИСУТСТВИЕ

1

плачет над гнездом кукушка
прячет селезень иглу
свежих облаков ватрушки
будут каждый день к столу

из осоки прошлогодней
жаба лает как свинья
закажи междугородний
дозвонись до бытия

2

сладкая медуница
в красных рубашках поло
в белом мне слаще спится
я лучше лягу голым
без символики
соло

3

шкура хрипит на ладан
вот доношу и ладно
Боженька дал такую
в ней по себе тоскую

в августовском банзае
я как часть урожая
шкура с меня слезает
замысел обнажая

Пауль Целан

АССИЗИ

Умбра ночи.
Умбра ночи и серебро колокола и оливы.
Умбра ночи и камень, что ты воздвиг.
Умбра ночи и камень.

Суд, что безмолвствует, суд.
Наполни сосуд.

Кувшин из глины.
Кувшин из глины, что сросся с рукой гончара
Кувшин из глины, рукою тени закупоренный навечно.
Кувшин из глины с печатью тени.

Скала, где ты спишь, скала.
Боже,пусти осла.

Рысящий зверь.
Рысящий зверь в снегу, что сыплет обнаженнойшая из рук.
Рысящий зверь перед Словом, чей рот на замке.
Рысящий зверь, с руки жрущий сон.

Диск, он безжалостен, диск.
Но — мертвые просят, Франциск.

РЕШЕТКА СЛУХА

Глазное яблоко между прутьев.
Сверкающий зверек, веко,
подгребает вверх,
освобождая взгляд.

Ирис, Дюймовочка, отчаявшаяся и мрачная:
сирое, вроде сердца, небо должно быть близко.
Косо, втиснута в железный стакан,
коптит лучина.
Можешь отгадывать при вспышках смысла
тайну души.

(Я был как ты. Ты была как я.
Не гнуло ли нас
одним и тем же пассатом?
Мы чужие.)
Голые плиты. На них,
прижавшись друг к другу, обе
усмешки сырых сердец:
два
полновесных молчания.

ГОДЫ ОТ ТЕБЯ КО МНЕ

Вновь волосы вьются твои, едва я заплачу. Голубизной
своих глаз
ты насыщаешь трапезу нашей любви: постель между
летом и осенью.
Мы пьем настоящее до нас, но ни мной, ни тобой
и ни третьим:
мы припадаем к последнему и опустевшему.

Мы видим себя в зеркалах пучины морской
и набрасываемся на еду:
ночь это ночь, она начинается утром
и кладет меня рядом с тобой.

НОЧНЫЕ ЛУЧИ

Ярче всех сгорали волосы моей вечерней возлюбленной:
ей шлю я ковчег из древесины легчайших сортов.
Ее обкатала волна, как ложе наших римских мечтаний;
он носит белый парик, как и я, у него хриплый голос:
он говорит, как и я, если дверь открываю сердцам.
Он знает французскую песню о любви, я напевал
ее осенью,
пока собирался в страну «Никогда» и письма писал
по утрам.

Какой прекрасный корабль мой ковчег, тесанный в роще
влечений.
И мне случалось на нем плыть токами крови, юному,
как твой взгляд.
Что ж, теперь ты юна, как мертвая птица и мартовский снег,
теперь он приходит к тебе и поет свою французскую
песню.

Вы легки: вы длите мою весну до конца.
Я легче вас:
я пою пред чужими.

*)

Из подкорок и из сердец
тянутся стебли ночи,
и слово, брошенное косою,
клонит их в жизнь.

Так же немые,
веем мы миру навстречу:
наши взгляды,
сливаясь в поисках утешенья,
ощупывают друг друга,
спеша на неясный зов.

Безвольно
в моих зрачках затихают твои зрачки,
блуждая,
я подношу к губам твое сердце,
ты к своим подносишь сердце мое:
то, что мы выпьем сейчас,
умерит жажду часов;
то, чем мы станем сейчас,
дарует времени дни.

По вкусу ли мы ему?
Ни проблеска и ни звука
между нами, и речи об этом нет.

О стебли, вы стебли.
Вы стебли ночи.

ВОСПОМИНАНИЕ О ФРАНЦИИ

Ты вспоминай со мной: глаза Парижа, великое осеннее
безвременье...

Цветочница нам продала букет сердец,
что, голубея, распускались в вазах.

Дождь принялся накрапывать в гостинной:
к нам заглянул сосед, месье ле Сон, невзрачный гном.

Он вытащил колоду карт, я проиграл зеницу ока;
ты волосы дала взаймы, я проиграл их, он разбил нас
в пух и прах.

Он двинулся к дверям, дождь шел послушно следом.
Мы умерли, зато могли дышать.

**) содержание*

И. Кукулин. Стать иноземцем	5
-----------------------------------	---

**) СТИХИ*

НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ	33
DIE HEIMKERN	37
ОСЕНЬ В КРАСЛАВЕ	41
КРАКОВСКИЙ ТРУБАЧ	44
ОТСУТСТВИЕ САКСОФОНА	47
БОЛЬНЫЕ СТИХИ	50
РАККАД-ЖИРАП	53
СОЛЯРИС	67
ИЗ ЗАПИСОК СЕРГЕЯ ВЕРЕТЕННИКОВА	70
МИРИАМ	74
ЛИНИЯ	76
ГАЛИСИЙСКАЯ КНИГА	83
ВРЕМЕНА ГОДА	86
РОЗА ТУРАЙДЫ	89
СЕВЕРНАЯ ЭЛЕГИЯ	92
ПРОЩАНИЕ С ОТЧИЗНОЙ	94
ПСАЛОМ	96
ЖАЛОБЫ	97
ЕВРЕЙСКИЕ СТИХИ О ЛЮБВИ	98
МЕТАМОРФОЗЫ	103
ИСПОВЕДЬ	110
БЕРЕГ ПАМЯТИ	113
ВРЕМЯ ОТВЕТОВ	118
КАТОЛИЧЕСКАЯ ПОЭМА	127
ЗОЛОТО РЕЙНА	133
ДЖОКЕР	137
КОВЕР	149
ЛЮБОВЬ ЭТОЙ ОСЕНИ	161
ВИДИМЫЙ МИР	165
ТАМ ГДЕ	172
СТРАННЫЕ ПАРЫ НА БЕРЕГУ OSTSEE	180

**) переводы*

УЛДИС БЕРЗИНЬШ

СТИХОТВОРЕНИЕ О СТАРОСТИ	191
ПАМЯТНИК ДОНУ АЛЬФРЕДО	193
НАБЕРЕЖНАЯ ДВИНЫ	197
ЭПИСТОЛЯРНАЯ ПРОЗА	198
БЕЛЫЕ КОЛГОТКИ	199
Есть особый любовный час	200

ОЯРС ВАЦИЕТИС

Я не знаю, где ты живешь	201
СЕРОГО ЦВЕТА	202
Твои слова меня	204
Отапливаемые центральным отоплением	205
Как перелетные птицы	206

КАРЛ КРОЛОВ

Каждое утро верует в Господа	207
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ	208
ОДА 1950	210
Из чьего-то окна	212

ЮРИС КУННОСС

ГЕРБОВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ	213
ПОЧТИ ДНЕВНИК. 1989	215
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР С УТРА	216
СТИХИ О СЛАДОСТИ АЗАРТА	217
ЖАНРОВЫЕ КАРТИНКИ. ПОСЛЕ ВОЙНЫ	218
СТИХОТВОРЕНИЕ НА МАЛОЗНАКОМУЮ ТЕМУ ...	219

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

МНОГО СПЛЮ	221
ОЧАРОВАННЫЙ ГУЧО	223
ГОРОД, ОТ ТЕБЯ НИКУДА	228
VENI CREATOR	229
ХРОНИКА	230
НАПУТСТВИЕ	231
НЕ ТАК	233
ГОЛОСА БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ	234
И ПЫЛАЛА ЭТОТ ГОРОД	238

ЯНИС РОКПЕЛНИС

У МОРЯ	239
ДЕТСТВО СЕТЧАТКИ И ВЕТЕР	240
своих попутчиков обнюхивает мозг	241
лоб покрылся нотной ряской	242
чужое тело рядом дышит	243
СОПРИСУТСТВИЕ	244

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

АССИЗИ	245
РЕШЕТКА СЛУХА	246
ГОДЫ ОТ ТЕБЯ КО МНЕ	247
НОЧНЫЕ ЛУЧИ	248
Из подкорок и из сердец	249
ВОСПОМИНАНИЕ О ФРАНЦИИ	250

СЕРГЕЙ МОРЕЙНО



Сергей Морейно родился в 1964 году в Москве. С конца 1980-х в Риге, был близок кругу журнала «Родник». Живет в Риге и Москве, переводит немецкую, польскую, латышскую поэзию, зарабатывает дизайном. Публиковался в Латвии, России, Израиле, Литве, Эстонии, Польше. Выпустил книги стихов «Орден» (М., 1999), «Клуб неназначенных встреч» (Рига, 1999), «Зоомби» (Рига, 2000),

«3/4» (Рига, 2002), «Там, где» (М., 2005), «Странные пары на берегу Ostsee» (Рига, 2006), четыре из которых включают и переводы; отдельно издана книга избранных переводов Ю. Кунносса «Contraбанда» (Рига, 2000).